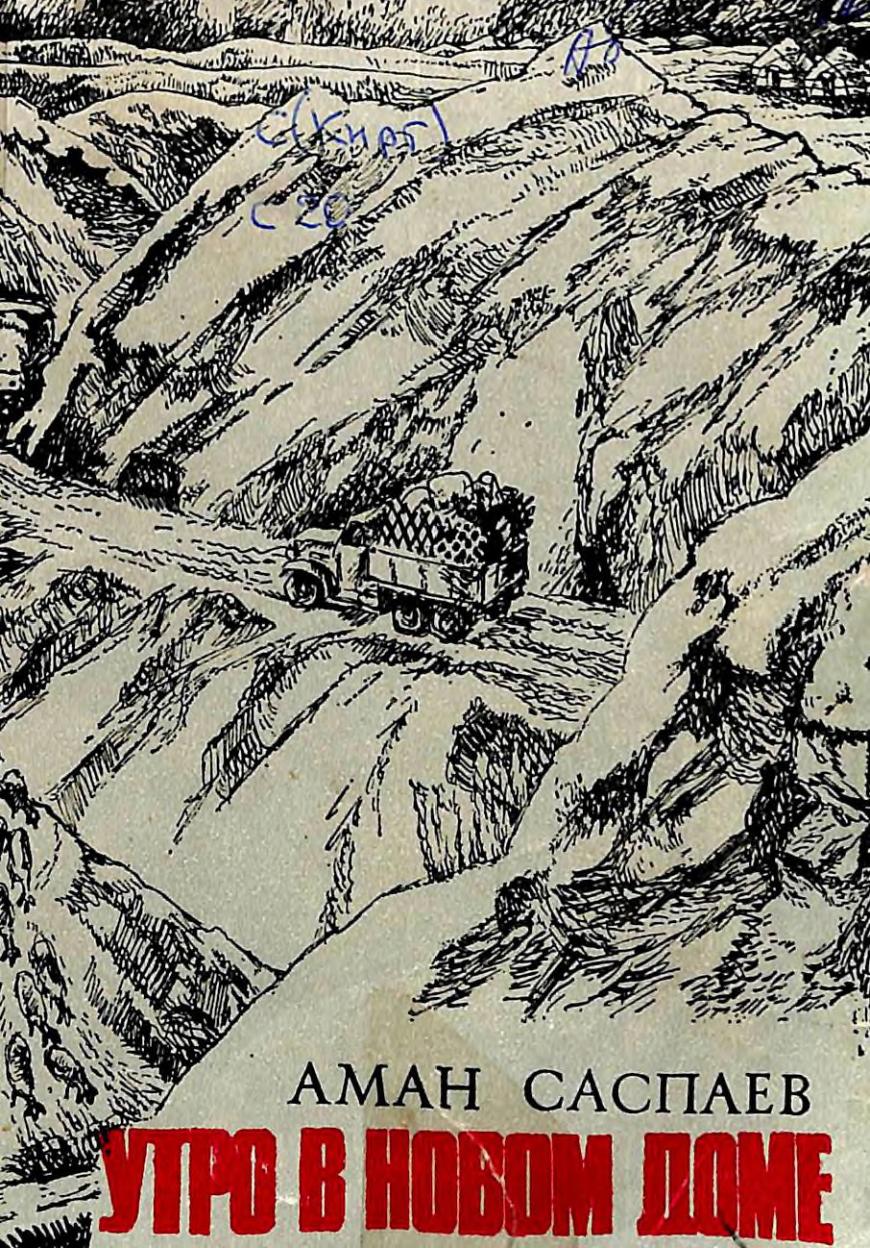




АМАН САСПАЕВ

**УТРО В НОВОМ ДОМЕ**



АМАН САСПАЕВ

# УТРО В НОВОМ ДОМЕ

РАССКАЗЫ

*Перевод с киргизского Л. Лебедевой*

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1977

Аман Саспаев—киргизский писатель. «Утро в новом доме» — его первая книга на русском языке.

В будничных житейских делах показывает А. Саспаев своих героев — трактористов, чабанов, аильскую молодежь,— и мы видим, каковы они, что ценят в жизни и людях, что осуждают и презирают, чем дорожат и восхищаются.

Автор стремится философски осмыслить каждое явление жизни, подмечает ростки нового и осуждает все старое, отжившее.

© Перевод на русский язык, издательство «Советский писатель», 1977 г.



В нашем народе истари сложилось так, что родню надо почитать особливо. Чуть ли не превыше всего ставили это. Сам сгори, а родича из огня вытащи. Дрожи от холода, а свой чапан, если нужно, родичу отдай... В этом, конечно, и хорошие стороны есть — пока оно в разумных пределах. Если же во имя родственных чувств человек поступает против совести, что тут хорошие-

го? А ведь бывало такое... Да и теперь случается. Хотя, конечно, многое изменилось. Если для одних родство сохранило все свое значение, то для других это скорее привычка к определенным правилам поведения. А есть и третьи — кому на обычаи родства, попросту говоря, наплевать. Таких, правда, немного: что устанавливалось веками, не уходит за один день, будь то плохое или хорошее.

В совхозе «Кызыл Октябрь» народу живет и работает много. Но съехались люди все больше из разных мест, и редко у кого есть родня в самом совхозе. Ну, как-то так получается, что пока человек не наладит жизнь толком, вроде бы и некогда думать о родне, которая обретается бог знает за сколько километров, где-нибудь в другом районе или даже в другой области. А наладится все, встанет на свои места — и приходят мысли о своих, хочется их повидать и себя показать.

Тракторист Эрмек долгое время ни о чем подобном вообще не задумывался. Вся его родня жила далеко. Отец его Керимбек уехал из родных мест еще до рождения Эрмека. В совхозе они поселились давно. Эрмек тогда совсем малышом был. «Кызыл Октябрь» для него все равно что родина, и люди кругом свои, близкие.

Поэтому, когда в один прекрасный день приехали к нему в гости родственники, он с некоторым удивлением слушал речи о том, какое большое у них родство.

— Отец твой, бедняга, ушел из этого мира и оставил тебя малым и несмышленным, — говорили ему, — что ты мог о родне понимать...

Эрмек принимал гостей как умел, проводил с уважением, но разговоры родственников о том, что он здесь, в совхозе, одинок, что тяжело жить среди чужих, прошли как-то мимо его сердца. Да, видно, искра запала-таки в душу. Пришел час — и она вспыхнула горячим огнем.

Дело было осенью. Бригадир закрепил трактор, на котором Эрмек работал уже не первый год, за своим племянником. Эрмеку выделили другой — не трактор, а железный лом... Что на нем наработаешь и сколько заработаешь, ежели то и дело надо ремонтом заниматься? Почему бригадир поступил так? Хотел, должно быть, племяннику удружить. А у Эрмека здесь ни свата, ни брата, никому он не родня...

— Я на этом инвалидном тракторе работать не стану! — в сердцах сказал он бригадире. — Ты почему мой трактор своему племяннику отдал?

Ответ бригадира совсем расстроил Эрмека.

— Чего ты ко мне пристал? Не от меня это зависело, завфермой сам решал, — бросил тот и ушел, не вдаваясь в объяснения.

Эрмек пошел к заведующему.

— На старом тракторе работать не буду! — заявил он, но заведующий на его решительный тон отреагировал слабо.

— Если прикрепили тебя, значит, так надо. Работай и не шебарши, — сказал он спокойно. — На хорошем тракторе каждый может. Ты сильный механизатор, ты и с плохим справишься. Сам знаешь, время горячее, вспашка, а тракторов у нас мало... Иди, иди! — неожиданно рассердился он, замахал руками и уткнулся с досады в какую-то ведомость или отчетность.

Эрмек всю дорогу домой не мог остыть. Несколько раз произнес вслух, что все равно не станет работать на этой развалине, а возле дома долго стоял, глядя в одну точку, не замечая холодного осеннего ветра. «Сильный механизатор»! Нечего сказать, утешил! А трактор, к которому Эрмек так привык, позволил отдать бригадире племяннику... Эрмеку самым обидным и представлялось, что племяннику отдали...

Всю ночь ворочался он с боку на бок, думал, думал и надумал к утру, что трактор принимать надо — ни-

куда не денешься. Не бросать же работу. Не он, так другой должен будет возиться со старой жестянкой.

Мучился он с этим клятым трактором ужасно, особенно в первое время. Тут главная беда была, что зимой ремонтировал машину определенно какой-то халтурщик, сделал все на скорую руку, весной трактор кое-как тянул, а к осени почти развалился. Эрмекковырялся в механизме без конца и без проку. С ненавистью глядел на ни в чем не повинный трактор и крыл его каждый день почему зря.

Эрмек чувствовал себя униженным. Бывало ведь, что бригадир или заведующий фермой ругали его. Не раз бывало. Ну и что? Он и в ус не дул. Выругают за дело — не обидно. Теперь же он не мог избавиться от мысли, что начальство не любит его, терпеть не может... Эрмек уговаривал себя, твердил себе самому, что зря переживает, что нельзя принимать пустяки близко к сердцу... Не тут-то было. Трезвый рассудок не вынешь, когда надо, из кармана. Чувства берут порою верх над разумом, и мало кто умеет их скоро обуздать.

Закончилась осенняя пахота. Трактор поставили на капитальный ремонт, и Эрмек вздохнул с облегчением. Директор совхоза знал, как досталась трактористу осенняя вспашка, и распорядился закрепить за Эрмеком новый ДТ. Эрмек радовался от души. Человек он был добросердечный, по природе незлобивый. Теперь ему приятно было думать, что на новой машине он покажет класс, что ухаживать за трактором будет сам и проработает без ремонта не меньше пяти лет.

\* \*

К окончанию осенних работ приурочивают в аилах свадьбы, приглашения погостить, семейные встречи за праздничным столом. Получил и Эрмек письмо от родичей: они звали к себе. Эрмек посоветовался с женой:



— Надо бы поехать,— сказала она.— В прошлом году не были у них, неудобно родню обижать.

— Ну, поедem тогда.

Они обсудили, какие купить подарки, у кого побывать — чтобы уж за один раз объехать всех. И тронулись в путь. До места километров двести, дорога не ближняя.

Приняли их хорошо. Что ни день, приглашали в два, а то и в три дома. Старики вспоминали покойного Керимбека, и Эрмек слушал с растроганным сердцем. Бойкие нынешние молодухи обращались к нему «наш джигит» и смело чокались полными рюмками.

Особенно сердечно встретили их с женой в доме дяди Эрмека по матери. В день отъезда собрались убеленные сединами старики и уговаривали Эрмека перебираться в родные края.

— Твой покойный отец уехал от нас в обиде. Но человек он был хороший, ты, должно быть, в него уродился, сынок. Спасибо, что не забыл родню, что не держишь обиды за отца. Теперь, говорят, все места одинаковы, везде жить можно. Верно, да только не зря у нас считают, что где родился, там и годился. Как ты на это смотришь?

Эрмек такого предложения не ожидал. Он не знал, что ответить, но дядя по отцу, Джаманкул, у которого они с женой пробыли последние перед отъездом дни, выручил его:

— Ты не спеши с ответом, племянник. Мы понимаем, подумать надо. Переехать проще простого: пригоним машину и заберем вас со всем хозяйством. А решиться не просто, надо взвесить все как следует. Надумаешь — дай нам знать.

И Эрмек с радостью принял поддержку дяди:

— Конечно, подумаю, спасибо вам. Мы там живем неплохо. А здесь ведь и дома нет для нас.

— Ну, это тоже проще простого,— отвечал тот же

Джаманкул.— У нас сейчас два дома. Сын мой чабан, в доме они почти не живут. Пока не построишься, поживешь у нас. Вас только двое, не велика тягость...

Сын Джаманкула Джусуй провожал Эрмека с женой на автобус. Эрмеку вдруг захотелось узнать, что он думает насчет переезда.

— Если переберемся сюда, сумеем для меня трактор поновее выпросить? — как бы между прочим спросил он.

Двоюродный брат ответил не то чтобы не приветливо, но как-то невесело:

— Ты без работы нигде не останешься.

— Трактористы здесь, наверно, хорошо зарабатывают?

— Кто как...

«Ему-то мой переезд, кажется, не по душе», — подумал Эрмек и спросил прямо:

— Ну а как лучше, по-твоему, переезжать или оставаться на месте?

— Я тебе сказать не могу. Каждый человек жизнь устраивает сам.

По наблюдениям Эрмека, родные не жаловали Джусуя своим расположением, считали, что у него в душе нет родственных чувств. Судя по его теперешним словам, вроде бы они и правы. Но тут Эрмеку впервые пришла в голову мысль о том, что одно дело приехать к родным в гости, а другое — жить с ними постоянно.

\* \* \*

Домой они вернулись благополучно. Эрмек охотно рассказывал друзьям о поездке и прибавлял в шутку:

— Обращайтесь со мной получше, не то возьму да и уеду от вас к родне.

А заведующему фермой заявил уже не шутя:

— Что же это до сих пор нового трактора нет? Не дадите — уйду из совхоза, так и знайте.

Заведующий ссориться с хорошим трактористом не хотел. Механизаторы — народ дефицитный, с ними надо ладить и уметь кое-что им прощать. К тому же заведующий знал, что родня привечала Эрмека и звала его к себе.

— Уезжать собрался? — спросил заведующий. — Брось ты это! Что в наше время родичи? Выпить вместе чайник чаю — и все дела!

— А мне не хочется еще раз хлебнуть такого, как прошедшей осенью, — напомнил Эрмек. — Раньше мне и в голову не приходило, что если у тебя родни нет, так могут тебя обидеть...

Заведующий фермой был задет за живое.

— Эрмек, что ты? Что тебе в голову взбрело? Я к тебе всей душой... Поверь ты мне, ради общего дела мы осенью тебе тот трактор дали. Иначе остались бы не вспаханнными десятки гектаров. А ты справился. Родственные отношения здесь ни при чем.

Присутствовавший при разговоре бригадир не утерпел:

— Да я к тебе лучше отношусь, чем к своему племяннику! Он у нас в семье паршивая овца, лодырь, каких мало. Может, и не стоило ему хороший трактор давать, но на плохом он вообще ничего не сделал бы, а тут хоть что-то... Новый трактор тебе дадут, сам Михаил Иванович распорядился.

Но заноза крепко сидела у Эрмека в сердце, он все чаще возвращался к мысли — а не уехать ли в самом деле? Обсуждал вопрос с друзьями. Впрочем, их советы ему не нравились.

— Сейчас везде одинаково, — пожимая плечами, говорил один. — Чего на родню рассчитывать? Ты сам себе голова, и никто тебя не обижает, не выдумывай.

— Сыт, обут, одет. Специальность что надо. Друзей

много. А это все самому заработать надо. На новом месте никто — за тебя ничего добиваться не будет. Ты ведь комсомолец, чего ж рассуждаешь по старинке? — отвечал другой.

Эрмек понял, что одобрения у друзей не встретит, и прекратил советоваться. Собственно говоря, он еще сам не был внутренне готов к тому, чтобы сорваться с насиженного места, да еще зимой, в холод, и ехать, рассчитывая только на приют у родственников. Они с женой вдвоем написали письмо, что пока перебраться не могут. На том и успокоились.

Зимой Эрмеку пришлось возить корма на дальние фермы. Работа это нелегкая, особенно как закрутят бураны, да такие, что перед самым носом ничего в снегу не видать. Но Эрмеку было не привыкать, он хорошо знал дорогу, умело вел трактор с прицепом. В первый же раз, как выехал с двумя тоннами кормов, попал он в пургу. Дорогу переметало сугробами, мешки в прицепе быстро завалило снегом. Эрмек рад был, что оделся тепло. Он вел трактор и вспоминал, как лет десять назад возили корма на санях, а то и на арбе. Тогда еще жив был отец, а Эрмеку было лет четырнадцать, не больше. Отец с фронта вернулся живым, но здоровье было подорвано. На болезни Керимбек жаловаться не любил. Да и вообще человек он был с характером, прямой и честный, убежденный коммунист. Он не раз говорил с Эрмеком о жизни, о будущем, о том, каким хочет видеть своего сына.

— Ты, сынок, крепче всего помни одно: чтобы честно и с пользой жизнь прожить, надо трудиться. Работа, труд — вот главное для человека.

Эрмек, конечно, понимал отцовские слова, но как следует осознал их гораздо позже, уже после смерти отца, оставшись единственным помощником у матери. Он учился, кончил школу механизаторов, начал работать. Тяжело пережил смерть матери... Вот когда вы-

ручали друзья искренним сочувствием, крепкой поддержкой... Снег вроде бы утих, но ветер все еще метался над землей, подымая белые смерчи. Эрмек посмотрел на часы. Езды еще не меньше часу.

Небо все больше прояснялось. Открылись далекие горы. Эрмек оглянулся,— с мешков на прицепе ветром сдуло весь снег. Тракторист продолжал путь. Надо думать, после обеда ударит мороз, и скорее всего надолго.

Снова вспомнился Эрмеку отец. Почему он все-таки уехал от своих? Почему не ужился среди родственников? Отец был честный, всеми уважаемый человек. Но ведь и родичи — люди неплохие, Эрмек сам в этом убедился... В чем же дело?

Вскоре показались постройки фермы. Эрмек повеселел, глядя на дома, над которыми торчали телевизионные и радиоантенны, на добротно построенные скотные дворы.

Кладовщик встретил его сердитой бранью:

— Два дня скотина голодная! Где вас там черти носят? Хотел сегодня во Фрунзе радиограмму отбивать.

Рабочие окружили трактор, готовились сгружать мешки. Эрмек дал кладовщику выговориться и только потом сказал:

— Вы сами виноваты, аксакал. Корма надо завозить с осени.

Кладовщик не возражал, да и некогда было: разгрузка шла полным ходом. Как закончили, кладовщик повел Эрмека к себе домой обедать.

— Послезавтра приедешь? — с тревогой в голосе спрашивал он.

— Пошлют — приеду, — отвечал Эрмек, со вкусом потягивая чай. — Дорога вообще-то неважная.

— Ничего, тебе все нипочем.

Эрмек теперь отогрелся, подобрел и, пообещав определенно, что послезавтра придет с кормами снова, дви-

нулся в обратный путь. С ним уезжал старик почтальон. Эрмек был рад попутчику.

— Лет пять назад зимой до этой фермы добраться нельзя было, а нынче ездим через день,— начал почтальон, невольно повышая голос, чтобы перекричать мотор.

— Ну, дядя,— кричал в ответ Эрмек,— теперь времена другие.

— Мы с твоим отцом не раз проехали по этой дороге,— продолжал почтальон.— С характером был покойник, не тем будь помянут. Уж очень горяч на неправду — как заметит что не так, сразу зашумит.

Эрмек повнимательнее посмотрел на почтальона.

— Вы не знаете, почему отец от родичей уехал?

— Как не знать, Керимбек сколько раз мне эту историю рассказывал.

— А вы теперь мне расскажите.

Почтальон помолчал, вынул из кармана папиросы, угостил Эрмека. Эрмек закурил. Задымил и старик.

— Обиделся твой отец на родню.

— Это я знаю. А за что?

Старик подумал.

— Ты своего дядю Джаманкула знаешь? Отцу твоему двоюродный брат?

— Знаю.

— Так вот, когда колхозы только начинались, дядю этого Джаманкула решили раскулачить. Твой отец был активист, принимал в этом участие, иначе и быть не могло. Тут и пошел шум среди родни. Дальше — больше, написал Джаманкул заявление на твоего отца. Бесчестное заявление, клеветническое. Когда его проверили, Керимбека оправдали полностью. Он сильно переживал, конечно, но работал по-прежнему, если не лучше. А родичи совсем взбеленились, задумали с ним расправиться сами, коли уж из заявления ничего не вышло. Защитили тогда Керимбека друзья.

— Почему же он все-таки уехал оттуда? — спросил Эрмек.

— Да я толком не знаю, но думаю — травили его, не давали покоя. Хотели, чтобы он уехал... Ну а здесь он и работал и жил хорошо. Достойный человек, я его любил, дружили мы с ним очень крепко.

Старик затаился последний раз и, бросив окуроч на пол кабины, притоптал его. Эрмек молчал. Разговор с почтальоном что-то новое пробудил в его душе, но нельзя сказать, чтобы повлиял на его собственное отношение к родным, к самому Джаманкулу. Мало ли что было в прошлом, теперь этот человек не производил дурного впечатления на Эрмека.

\* \* \*

Вернувшись в следующий раз из поездки на ферму, Эрмек увидел у себя во дворе грузовик. Вначале подумал, что это заехал кто-нибудь из друзей-шоферов — по делу либо просто повидаться. Но не успел дойти до двери, как попал в объятия Джаманкула, который вышел из дому встретить его. Джаманкул крепко обнял Эрмека, накинутая на плечи шуба старика упала на снег. Эрмек наклонился поднять ее. Он чувствовал себя растроганным и вначале даже не мог отвечать на обычные расспросы о здоровье. Только в комнате, раздевшись и немного успокоившись, начал он в свою очередь расспрашивать о здоровье, о делах.

С Джаманкулом приехали еще двое из Эрмековой родни.

— Джусуй тоже хотел с нами, — сказал Джаманкул, — да знаешь ведь, чабан что женщина с грудным младенцем, по своей воле отлучиться не может. Не отпустили его. Скоро окот.

За достарханом сидели долго, ели, выпивали, разговаривали. Эрмек все ждал, когда заговорят о том, ради

чего приехали. Он не сомневался, что приехали не просто в гости. Но Джаманкул в этот день так и не сказал ничего, только на следующее утро, за чаем, приступил к самому важному. Пространно, медлительно, подбирая слова, объяснял он Эрмеку, почему ему следует пересмотреть свое решение и уехать на родину. Заключил свою речь обещаниями и дом построить, и вообще материально поддержать.

— Мы на год возьмем вас с женой на свое обеспечение, все ваши расходы берем на себя, так? — обратился он к другим родичам с полувопросительной интонацией.

Те закивали согласно.

У Эрмека вдруг заколотилось сердце. Надо было ответить сегодня, он чувствовал, что надо ответить еще раз, и никогда желание переехать не было так сильно в нем, как нынче.

После завтрака гости ушли — пройтись, в магазин заглянуть, но Эрмек понял, что они хотят дать им с женой возможность потолковать с глазу на глаз.

Жена не решалась произнести твердое слово, но Эрмек видел: ее, как и его, волнует настойчивость родственников, будоражит, подталкивает...

Он вскочил с места, быстро прошелся по комнате.

— Ладно, едем!

Сбросив с души груз неопределенности, легким шагом вышел он во двор. Родичи уже вернулись и теперь познакомились с их хозяйством, немудреным, но вполне крепким. Двоим немного надо, а все-таки и куры, и овцы были у Эрмека. Погреб полнехонек, топлива запасено вволю, сена тоже. Самый дом принадлежал совхозу.

— Кур мы завели, на соседей глядя, — заговорил Эрмек, подойдя к присевшему на чурбан Джаманкулу. — Соседи у нас русские. Хорошие люди, сердечные. Летом улы нам предложили.



— Да, русские народ хороший,— согласился старик, но видно было, что думает он о другом, о главном.— Ну как, сынок, что ты решил?

— Решили переезжать.

Джаманкул заулыбался, встал.

— Ой, спасибо! Ой, спасибо, родной! Ну, надо это дело отметить...

Водитель грузовика побежал в магазин за водкой, в доме накрывали достархан. Долго и степенно советовались и договорились, что вначале поедет жена Эрмека, а он управится здесь, уволится с работы и переберется попозже.

\* \* \*

Товарищи и друзья Эрмека больше не отговаривали его,— видели, что бесполезно. Жалели, что он уезжает, некоторые даже считали, что испортит он жизнь и себе и жене, да что поделаешь с упрямым? Жалел и директор хорошего тракториста.

А Эрмек со всеми делами покончил за два дня. Кизяк, курай, сено продал. Дом после отъезда жены опустел и стал неуютным. Эрмек только и ждал теперь, чтобы пришла машина и увезла оставшееся имущество, живность и его самого. Друзей он пригласил как-то вечером посидеть на прощанье. Накануне отъезда заходил к директору. Михаил Иванович прожил в Киргизии всю жизнь и хорошо говорил по-киргизски.

— Эх, Керимбеков, Керимбеков, ну что ты сорвался с места? Кто тебя гонит?

— Никто не гонит, родные зовут...

— Родные... Где только на кровном родстве все строится, там темноты больше, поверь мне. У нас тут больше дружбы, чем родства, а это дело покрепче будет. Ну ладно, что тебя уговаривать! Не маленький... Жаль терять ~~дольного~~ механизатора.

— До свиданья, Михаил Иванович, я уже, можно сказать, одной ногой там. Жена уехала, вещи кое-какие перевезли.

— Ладно. Прощай. Желаю тебе счастья. Я хорошо знал твоего отца. Да и на могиле у него памятник вместе с тобой ставили. Ну...— он не договорил, поднялся, подошел к Эрмеку и протянул ему руку.

От директора Эрмек пошел в комитет комсомола. Там никого не было, кроме девушки-библиотекаря. Она сидела и читала.

— Ты что здесь одна?

— Дежурю. Остальные в поле, удобрение возят.  
А ты что?

— Я же уезжаю.

— Далеко?

— На луну,— усмехнулся Эрмек.

— Счастливого пути! Захвати вот книжки с собой, прислали из района тебе в подарок как активному участнику читательских конференций.

Эрмек взял небольшую связку книг. Надо было идти домой, но по дороге он свернул к магазину. Там тоже было пусто. Продавщица скучала за прилавком.

— Ты, говорят, переезжаешь, Эрмек?

— Да.

— А где же отвальная?

Эрмек пожал плечами:

— Пить неохота. Ну, дай бутылку.

С бутылкой и стаканом, который он выпросил у продавщицы, Эрмек вышел на улицу. Подождал, не подойдет ли кто. Нет, никого не видно. Он вернулся в магазин, налил полстакана водки, выпил, не ощутив ни горечи, ни крепости, и отдал бутылку продавщице: «Оставь у себя...»

Дома ему все казалось скучным, каким-то ненастоящим. Он засыпал курам корм, смотрел, как они дрались из-за зерна, и вяло думал: «Чего дерутся, бессо-

вестные?.. Хватит на всех...» Все с тем же ощущением скуки и ненужности того, что он делает, а вернее — ненужности самого себя здесь, где он уже не участвует в обычном ходе жизни, он накормил овец и пошел прилег. Хорошо бы поспать часок, время скоротать... Но сон не шел к нему, и Эрмек встал, оделся, вышел из дому, постоял и решительным, быстрым шагом двинулся к кладбищу. Памятник на могиле отца был из белого камня. «Коммунист Керимбек Джайнаков». И даты жизни. Рядом могила матери... «Остаются...» — пробормотал Эрмек и, махнув рукой, пошел прочь.

\* \* \*

Назавтра часам к двенадцати пришла машина. Погрузились быстро, Эрмек бросил на свой дом последний взгляд и забрался к шоферу в кабину.

До места добрались к вечеру. Родичи, должно быть, ждали, потому что к дому Джаманкула почти сразу потянулись люди — здороваться и поздравлять. Почти каждый из мужчин принес с собой бутылку.

Джаманкул, радостный и возбужденный, приглашал всех заходить. Глядя на него, Эрмек ощутил прилив энергии. Он подавал гостям чай — как младший хозяин, и это было ему приятно.

— Шестнадцать, — вдруг произнес кто-то из гостей, и все обернулись в его сторону.

— Говорю, шестнадцать дымков теперь нас, — пояснил тот, и на лицах просияли блаженные улыбки.

Джаманкул зарезал по случаю приезда Эрмека барана-двухлетку. Ели мясо, пили крепкую, наваристую шурпу, дружно чокались большими рюмками граненого стекла. Разговор становился все оживленнее, начались воспоминания.

— Помнится, в тридцать третьем году, что ли... — заговорил плотный пожилой мужчина с монгольскими

усиками.— Стащил я на току мешок зерна, несу, а Керимбек навстречу. Ох, провалиться бы мне сквозь землю! — рассказчик рассмеялся.— Он меня отругал, повел в контору, велел оставить мешок и отпустил. Иди, говорит...

— Строгий был человек, это верно, но не злой,— добавил еще кто-то.

Эрмек хотел сказать, что отец правильно поступил, но почему-то сдержался, промолчал.

— Да, Керимбек родне не мирволил,— продолжал усатый.— Такого другого у нас и не было. Как родне откажешь? У нас бригадир однажды пожалел родича, дал ему лошадь, надо тому было, так Керимбек сразу на бригадира налетел как коршун: «Подкулачнику помогаешь!» Богатых он не терпел...

— Да-а, пережили немало, сохрани бог. Теперь-то у нас всего полно, избаловались. Бабам платье подавай только из крепдешина.

Эрмеку хотелось участвовать в разговоре, да как-то ничего подходящего, чтобы сказать, и в голову не шло. Потом, думая о дне приезда, он считал его счастливым, праздничным для себя, но никак не мог вспомнить, что же он делал, что говорил, с кем говорил в этот день. Помнилось, как резанули ухо чьи-то слова: «А что он делать-то будет теперь? В чабаны подастся?» Он тогда с недоумением подумал: «Почему в чабаны? Сяду на трактор, как и в совхозе...» Но вслух не сказал ничего. Чувство отчужденности не покидало его, он объяснял его тем, что еще мало знает свою родню...

Когда гости разошлись, в доме почти сразу начали укладываться спать. Эрмеку с женой постелили в прихожей.

— Где же обещанный дом для нас? — спросил Эрмек негромко.

Жена еще не погасила свет. Она стояла у двери, где возле притолоки был выключатель. Повернувшись к

мужу, покачала головой. Лицо у нее было усталое — это Эрмек заметил сразу. Потом он увидел, что ей приходится вертеться по хозяйству, как младшей снохе.

— Я тебя еле дождалась, — зашептала она. — Дома, кажется, и в помине нет.

Утром она поднялась раньше всех и сразу — за работу. Эрмек смотрел, как она мечется, чтобы все успеть, и злился. Зачем она так?

После завтрака поставил свой приемник на подоконник и спросил у жены Джаманкула:

— Джене<sup>1</sup>, когда ток дают?

— К вечеру, — отвечала та, поджав губы. — Ты, пожалуйста, не называй меня так. Зови матерью, а джене для тебя кто помоложе.

Вскоре пришел с ночного дежурства Джусуй. Он поздоровался, но за этим не последовал, как у всех других, приходивших поздравить Эрмека с приездом, характерный жест: рука за пазуху — и появляется бутылка водки.

Эрмек хорошо помнил, какими словами ответил ему Джусуй на вопрос о переезде, но теперь он уже не верил, что нелюбовь родичей к Джусую чем-то оправдана. Просто он прямой и справедливый человек, за то и недолюбливают его те, кому родство дороже правды. И Эрмеку вдруг показалось, что сам он поступил не то чтобы не по правде, а вроде бы в обход нее.

Джусуй присел на кошму. Он молчал, молчал и Эрмек. Джусуй улыбнулся:

— Ну, добро пожаловать...

— Спасибо. А вы как? Все с овцами?

— Куда же от них денешься? Сейчас окот.

В разговор вмешалась жена Джаманкула:

— Дети здоровы?

---

<sup>1</sup> Джене — обращение к старшей родственнице.

— Здоровы.— Джусуй повернулся к ней.— Вы как себя чувствуете, мама?

— Я-то? Какое мое самочувствие, старый человек всегда болен. Сердце ноет,— она застонала.— Ты обещал цейлонского чаю...

Она предложила сыну позавтракать, но Джусуй отказался. Тогда мать дала ему один из оставшихся от вчерашнего тоя кусков вареного мяса — для невестки. Джусуй мясо взял и пошел. Эрмек проводил его до ворот и долго потом стоял, задумавшись. Мысли были какие-то путанные и неприятные. Джусуй не сказал почти ничего, но Эрмек связывал свою растерянность, смутность мыслей с его приходом. Почему — он бы не мог ответить.

День тянулся бесконечно. Вечером пришла приглашать их в гости жена родича, обитавшего в соседнем доме. Она держалась величественно, выступала плавно и неторопливо. Эрмек поблагодарил, но решил про себя, что пойдут они попозже — благо, недалеко. Когда дали электричество, он включил приемник и слушал музыку почти до той минуты, когда надо было отправляться в гости.

Там он познакомился и немного поговорил с заведующим фермой и с бригадиром. Им обоим он вроде понравился...

Эрмеку тяжело было бездельничать. Рабочий человек, не привык он к этому и не хотел привыкать. Родичи звали в гости, дарили кто отрез на платье жене, кто рубашку ему, а Эрмек все чаще видел во сне «Кызыл Октябрь», все чаще думал о совхозе, где провел большую часть своей жизни, учился, женился, где остались друзья, много настоящих друзей.

Здесь он день ото дня все больше узнавал людей, больше понимал их. Присматривался к завфермой. Тот, как представлялось Эрмеку, к работе относился формально, без души, до людей и их настроения ему осо-

бого дела не было, до общественного достояния — тоже. Эрмек поделился своими наблюдениями с Джаманкулом.

— Верно, — отвечал тот. — Но нам такой и хорош. Не придирается. Не то что на других фермах.

— На других придираются?

— Да, суют свой нос куда не надо. Правда, и то надо сказать, что план у них выполняют.

— А наша ферма?

— Позади всех. Ну, нам-то что, лишь бы жить спокойно.

— Я решил работать, — сказал Эрмек. — Устал ничего не делать.

Заведующего фермой и бригадира позвали на угощение. Сидели долго, ели много, немало и выпили.

— Ты приходи завтра в контору, тракторы будем распределять, — сказал, прощаясь, бригадир.

Эрмек пришел точно в указанное время. Завфермой еще не было, бригадир стоял в дверях со списком в руке. Завфермой приехал верхом, на приветствие Эрмека не ответил, спешил, и они с бригадиром скрылись за дверью конторы. Эрмек покачал головой: ну и стиль работы! Рабочих здесь, видно, не привыкли уважать, завфермой даже не поздоровался. Эрмек поднялся на крыльцо и отворил дверь.

— Ты Алмасбекова вычеркни, — говорил завфермой. — Он в прошлом году то и дело не выходил на работу. Вместо него запиши нового... как его фамилия-то?

— Керимбеков моя фамилия, — сказал Эрмек.

Завфермой и бригадир подняли головы от списка.

— Керимбеков, — повторил заведующий. — Да. А ты, бригадир, сам иди с ним, пускай при тебе примет трактор.

Алмасбеков, симпатичный молодой парень, возился у себя во дворе с выдавшим виды ДТ.

— Ты, Алмасбеков, сдай машину новому трактористу,— велел бригадир.— Веди ДТ к конторе, я подойду.

Он куда-то заспешил, а Эрмек принялся осматривать трактор. Алмасбеков, насупившись, вытирал руки промасленной ветошью. Во двор вышла старая женщина.

— Ну, что он сказал? — спросила она Алмасбекова.

— Велел сдавать трактор, что ему еще говорить? — невесело отвечал тот и засвистел.

Старуха сердито посмотрела на Эрмека. Потом сказала сыну:

— Сдавай, не клином свет сошелся!

Эрмек спросил Алмасбекова:

— Ты казах?

— Ага,— ответил Алмасбеков и занялся трактором, собираясь пустить мотор.

— Ты погоди,— остановил его Эрмек.— Я вижу, ты расстроился, а?

— Как не расстроиться! В прошлом году работал хорошо, а трактор все равно забрали, передали другому. Не знаешь, на что рассчитывать.

— Куришь? — Эрмек протянул Алмасбекову папиросы.— Оставь трактор у себя. Я найду другую работу.

Алмасбеков, разминая папиросу, молча смотрел на него.

— Это дело твое,— сказал он наконец.— Только все равно заберут. Не сегодня, так завтра.

Эрмек отправился в мехцех, покрутился там примерно с час и вернулся домой. Джаманкулу уже успели рассказать, что племянник отказался от трактора.

— Ты чего? — накинулся он на Эрмека.— Давали тебе трактор, надо было брать! Кто тебе этот казах, чтобы о нем заботиться? Выходит, зря мы завфермой угощали?

Эрмек промолчал, а ночью они долго шептались с женой.



— Не привыкла я к этому,— горячо говорила жена, прижимаясь к Эрмеку.— Слова не скажи, шагу лишнего не ступи. Сегодня старуха все ворчала, что чаю много уходит, дров много жжем...

— А, плюй ты на это, не обращай внимания на бабьи дразги!

— Как не обращаться, если весь день с этим сталкиваешься? Это ты ничего не замечаешь.

— Нет, я тоже замечаю,— сказал он.

— Знаешь, наверное, зря мы переехали,— произнесла она то, о чем оба уже не раз думали.— Очень трудно мне. Да и тебе нелегко.

— Теперь уже поздно жалеть. А тебе надо на работу выйти, вот и все.

\* \* \*

В аиле начались пересуды, когда узнали о том, как и почему отказался Эрмек принять у Алмасбекова трактор. Многие осуждали приезжего родственника, а Джаманкул решил, что Эрмек и точно пошел в отца: чудак, помешался на честности. Никакого соображения, как надо жить...

В конце марта позвал Эрмека с женой в гости Джусуй.

— Ты извини, раньше не пригласили мы вас,— говорил он Эрмеку, пока они сидели и ждали обеда.— Время было горячее, работали день и ночь. Теперь полегче, окот прошел.

— Я на тебя не обижаюсь,— ответил Эрмек и вдруг почувствовал, что и в самом деле не обижается на Джусуя, больше того — что ему с Джусуем легко и просто, будто век они друг друга знали.

— Родичи,— продолжал Джусуй,— всегда найдут за что тебя побранить и посудачить о твоих делах, все равно хорошие дела или плохие. Не все, конечно, та-

кие, но и таких немало. Мне даже с отцом нелегко найти общий язык. Старик не так прост, как кажется. Сейчас он уже привык, что я живу своим умом, а раньше...— Джусуй не договорил и спросил:— Ты правда не взял трактор?

— Не взял,— спокойно ответил Эрмек.— Алмасбеков, как я понимаю, и сам работает неплохо. Зачем его обижать? Разве нет для меня другой машины?

— Ты прав, но работать тебе надо начинать. И дом надо строить...

— Чудной вы народ! — Эрмек покачал головой.— Я все сделаю, но поначалу одному трудно. Обещали помочь, а на деле... В общем, многому меня уже научили!

— А ты не злишь, это дело бесполезное. Каждый учится на собственном опыте. Ты не думай, у нас тут хороших людей и честных работников не меньше, чем где бы то ни было. И не очень-то прислушивайся ты к тем, для кого родство означает попросту: «Ты — мне, я — тебе...» Меня они не любят, а позови я их завтра на барашка, сразу стану родней родного. И хороший, и уважительный,— Джусуй расхохотался.— Ты, братишка, пойми, таким прежде всего нужна уверенность, что за налитые тебе сто грамм ты отдашь сто пятьдесят. Строй дом и готовься вернуть во время новоселья то мясо, которое съел у родичей. А мое угощение тебе не в долг.

Теперь они оба рассмеялись, и Эрмек невольно подумал, что впервые после переезда сюда смеется от души.

Они разговаривали долго и обо многом. Эрмек поделился с братом тем, что надумал после истории с Алмасбековым.

— Отремонтирую сам старую машину, это я могу. До весенней пахоты недели две осталось еще, а то и больше. Успею.

— Это можно, если справишься,— подумав, сказал Джусуй.— Главный механик — мужик хороший, он поймет. А завфермой в другой раз тебе трактор не предложит, раз ты такой строптивый. Да, ты правильно решил. И переезжай-ка в наш новый дом. Это не по-родственному,— подчеркнул он усмешкой иронический смысл слова,— как помощь тебе предлагаю. Переезжайте хоть завтра...

Назавтра обе молодые женщины — жена Джусуя и жена Эрмека — готовили дом к приему новых жильцов. Мыли, убирали, топили печь. Перетаскивали вещи. Потом поставили самовар и уселись ждать Эрмека. Он все не шел, хотя уже стемнело. Обсудили домашние дела. Жена Джусуя сказала, что сена, дров, кизяку у них много, пусть берут сколько надо. Допили чай, золовка не могла больше ждать, ушла домой.

Эрмек вернулся весь черный, даже нос в мазуте. Войдя в теплый, чистый дом, он повеселел. Умылся, спросил, давно ли ушла золовка, выслушал подробный рассказ жены обо всем, что сделали, о чем договорились днем. После ужина прилег и, с давно не испытанным удовольствием дымя папиросой, рассказал о своих успехах. Ремонт трактора ему разрешили. Да и отчего не разрешить — ведь человек все берется сделать сам, ничего особенного от других не требуя.

— Самое малое уйдет две недели на ремонт, да и то не знаю, управлюсь ли. Главное, запчасти,— озабоченно говорил он.— А ты пойдешь на работу? Я слышал, доярки нужны.

\* \* \*

Жизнь Керимбековых входила в привычную колею. Жена работала дояркой, муж с утра до вечера пропадал в ремонтной мастерской. Почти все детали для ре-

монта ДТ удалось снять со списанных машин, но кое-что достать не удалось. Главный механик сочувственно наблюдал за стараниями Эрмека, чем мог — помогал и, видя, что дело до конца не ладится, предложил Керимбекову съездить в РТС.

— Съездишь, подберешь себе, что нужно, да и вообще пошуруешь там насчет запчастей.

Решили, что поедет Эрмек назавтра с утра. Он ушел домой расстроенный: в третий раз делали слесаря лапку, а металл неподходящий, лапка гнулась. После ужина лег отдохнуть.

Медленно отворилась дверь, и появился Джаманкул. Эрмек нехотя встал, поздоровался.

— Ну, как твой трактор? Починил? — спросил Джаманкул.

— Нет еще. Деталей не хватает, — отвечал Эрмек, заранее испытывая раздражение от предстоящего бесплодного спора.

— Чем возиться с утра до ночи в мазуте, шел бы работать в столовую. Там нужен завхоз, у продуктов, по крайней мере, будешь. У нас в трактористы самых постылых детей отдают. Что это за жизнь?

— Я не хочу быть посмешищем, — не сдержался Эрмек. — Предоставьте мне самому решать, где работать.

Джаманкул поморщился. Вот, советуй ему, как родному... Нет, вылитый отец, ни в чем нет разницы!

— Я тебе добра желаю, — повысил он голос. — Чего ты упираешься?

— Я не упираюсь, я поступаю, как мне надо, — твердо, с упором на «мне» сказал Эрмек. — Сюда я приехал не потому, что не мог себя прокормить. У каждого своя цель в жизни.

— Цель! — пренебрежительно фыркнул Джаманкул. — У добрых людей цель одна: жить сытно, в до-

статке. А у таких, как ты, она другая. Душу выматывать.

Он ушел, а взбудораженный Эрмек долго не мог уснуть. Крепко спала уставшая за день жена, а он все лежал и вспоминал «Кызыл Октябрь». Вернуться? Пока не поздно, пока еще не обжился здесь? Эрмек приподнял голову и, как бы отвечая себе, покачал ею отрицательно.

На другой день он напрасно съездил в РТС. Нужной детали не оказалось и там. Эрмек чувствовал себя так, словно вся его жизнь могла повернуться по-иному из-за небольшого кусочка металла. Неужели отказаться от мысли о комплексном звене механизаторов? А ведь потерпи он неудачу с первым трактором, очень трудно придется и в дальнейшем. Что ж, пойти завхозом в столовую, распоряжаться маслом, мясом и прочими продуктами, греть себе на этом руки, жиреть? Эрмек усмехнулся...

Он сидел возле своего трактора, понурившись, когда кто-то толкнул его в плечо. Эрмек поднял голову. Перед ним стоял Алмасбеков и протягивал ему небольшой сверток.

— Ты чего?

Алмасбеков молча улыбнулся. Эрмек взял сверток и вскочил.

— Алмасбеков, друг! Где ты взял?

— Да случайно, понимаешь! Был в соседнем колхозе, вижу — грузят на машину разобранный трактор. Сдают как металлолом. Я вспомнил о твоей беде, стал им помогать, а сам ищу. И вот — нашел.

— Спасибо! Теперь мой тулпар завтра же станет в строй. Выпить, что ли, на радостях?

— Я непьющий. Только это не ты, а я тебя должен благодарить за доброе отношение.

— Ну, чего там! Слушай, пойдешь в мое звено?

— С тобой работать можно.

В общем, Эрмек был прав, придавая большое значение исходу первого своего дела в совхозе — ремонта признанного негодным трактора. Быть может, неудача и не принесла бы тех последствий, каких он боялся, но победа сыграла большую роль. Его как-то сразу за-уважали, а в глазах родственников вес Эрмека увеличился на много. И даже Джаманкул не преминул высказаться в том плане, что не зря-де тянул парня сюда — знал, дельный он работник, такие на дороге не валяются.

Эрмеку приятны были слова похвалы, особенно те, что произнес директор: «Молодец, ты среди наших механизаторов новое дело начал...» Но стократ приятнее был для него день, когда машины, на одной из которых сидел он, двинулись в поле. Первым шел трактор Балбакова — старейшего в совхозе механизатора, вторым — трактор Эрмека. Он вел машину и думал, что вот сейчас проложит первую борозду на земле, где родился его отец и где живет теперь он сам. И крепко стоит на ней собственными ногами. Спасибо родичам, что привечали его, только жить каждый должен своим умом, не заемным у дядюшки. Джусуй — хороший парень и понимает это. Жаль только, что понимание свое больше при себе держит.



Беспашка подходила к концу. Трактористы и прицепщики измотались вдрызг; лица у ребят осунулись, глаза покраснели — спать приходилось помалу. Нелегкое дело — весенняя пахота, особенно по ночам, когда холод, особенный весенний холод, идущий от земли, пробирает до костей. В совхозе решили зарезать бычка-двухлетку, чтобы рабочие получали мясной обед.

Я тоже тракторист, но на вспашке не работаю. Меня бросили на транспортную работу. Прицепили к трактору грузовую платформу — и вози, друг, что понадобится и куда понадобится.

Доставил я к юрте трактористов, возле которой уже прирезали бычка, ведро салидола да ведро дизельного масла, сгрузил их, а сам пошел в юрту. Сразу не хотелось уезжать назад.

Заправщик, слышу, говорит бригадиру:

— Нигрол кончился у нас. Надо привезти. Тракторы стоят...

Бригадир глядит туда, глядит сюда, кого бы и на чем послать за нигролом. Да никого что-то нет, все заняты, кто чем. Известно, на холоде лучше делом заниматься, чем на месте стоять да мерзнуть.

Тут бригадир меня и увидел.

— Милый человек, возьми-ка ведро, вон стоит пустое, да скатай за нигролом. Привезешь — премию дам, — он показал на мясо, что лежало возле стенки юрты.

— Да мне одному на таком холоде нигрол не налить, — говорю я.

— Нет у меня ни одного лишнего человека, — отвечает бригадир. — Да и не могу я никого послать, не оплатят им эту работу, наряд нельзя выписать... Бочку лучше возьми, полную привезешь, а я тебе мяса...

— Бочку! Как бы не так! — буркнул я и пошел к своему трактору.

До нефтебазы всего-то километра два, да не в том дело. Холод собачий, а работать надо без верхней одежды, да еще рукава закатать. Но я решил, что надо постараться — не ударить в грязь лицом. Попробуем!

Прибыл на нефтебазу и приготовился: платформу подогнал поближе к цистерне с нигролом, разделся, засучил рукава...

— Эй, ты что, один работать собираешься? — спра-



шивает какой-то тип. Он укрылся от холодного ветра за цистерной и что-то там цементирует, а вернее — только вид делал, что цементирует.

— Один, — отвечаю.

— Ну и дурак! — скривился он. — На таком холоде нигрол в бочку переливать — это, знаешь... А заплатят шиш, на пол-литра не хватит.

Я промолчал. Полез на цистерну. Поднял крышку, хотел ведром зачерпнуть нигрол, да не тут-то было! Нигрол густой, как смола, ведро не погружается в него. Вот чертова бурда, надо же! Я даже засмеялся.

— Чего смеешься, дуралей, нигрол тебе еще покажет!

Это опять тот орет. Ну ладно, я тут обозлился и что было силы начал толкать край ведра в нигрол. Помогло — ведро начало медленно наполняться. Набрал ведра, теперь другая задача — вытащить его. Тащу, а за ведром тянется весь нигрол, который есть в цистерне. Кто кого, как говорится... Взялся обеими руками, выволок ведро кое-как, а на нем налипло со всех сторон на палец, не меньше. Пришлось очищать. Очистил, отнес ведро к бочке. Ну-ка, перелей эту «кашу» в отверстие бочки, а отверстие-то маленькое, так, мышинная нора.

Пошел воронку искать, — нет нигде. А, чтоб тебе пропасть! Переливал так, без воронки, рукой помогал. Только приладили — ветер! Как рванет, полетел мой нигрол куда-то вбок, мимо бочки. Пришлось собирать и в бочку руками заталкивать. А ветер дует то с одной, то с другой стороны, мотает на меня этот чертов нигрол, как нитки, весь я черный, полосатый. Я проклинал и холод, и ветер, и загустевший нигрол, но дело решил довести до конца.

Повторялась вся эта история тридцать раз — пока бочка не наполнилась. Как раз на тридцатый ветер стих, будто его и не было.

„ От холода у меня не попадал зуб на зуб. А чистенький я был — не приведи боже! Однако своего добился, и даже липовый цементировщик, который вылез из своего укрытия, похвалил меня:

— Молодец!

Руки и ведро я отмыл бензином. Сунул кисти рук под мышки, отогрел немного. Закрыв отверстие бочки и двинулся в обратный путь, который показался мне совсем коротким, — должно быть, потому, что возвращался я с победой.

Тракторы стояли — все как один. Возле них покуривали трактористы. Я даже удивился, как громко они все хором заорали, увидев мою платформу:

— Нигрол!

— Нигрол, нигрол, получайте ваш драгоценный, — говорю я.

Я пошел к юрте обогреться. Мимо меня проехал верхом бригадир; в тороках было мясо. В юрте на тагане кипела в котле шурпа. На кошме сидел гость — учетчик — и что-то жевал. На брезенте, на котором, когда я уезжал, навалены были куски мяса, теперь ничего не было. Я присел, покурил. Учетчик отправил в рот последний кусочек и посмотрел на меня:

— А-а, это ты! Бригадир велел оставить для тебя полкило, а я забыл совсем.

Мне отчего-то смешно стало на него глядеть: вид удрученный, будто невеста что произошло. Я уже согрелся, малость отдохнул, пора было к дому подаваться. Я и подался — включил мотор своего ДСШ на полный газ. Двойной выигрыш у меня получился: и тракторы не будут простаивать, и сам я кое-чему научился.



У многих народов так водится, что старые люди — и мужчины и женщины — стараются, пока есть силы, помогать в работе своим домашним. Прибрать в доме, еду приготовить, посуду помыть они не считают зазорным или недостойным. У нас не так. Просто невозможно представить себе, например, старика, который сидит и чистит чайник. Смешно, нелепо... Да, у нас все иначе.

В конце марта старая Сонунбала перебралась в дом к своему младшему сыну Кенешу. В сорок первом ее муж ушел на фронт, и Сонунбала, пока подросли сыновья, несла на своих плечах весь груз домашних забот. Главной из них была, конечно, забота о том, чтобы дети встали на верный путь в жизни. Муж не вернулся с фронта. Сыновья выросли, обзавелись семьями, и Сонунбала, выполнив свой долг, могла теперь отдохнуть. Она, впрочем, не отказалась бы принять участие в домашних делах, но в доме у старшего сына, где она было поселилась, из этого как-то ничего не получалось. Здесь она себя чувствовала отчужденно и неуютно. Не решалась даже прикрикнуть на расшалившегося внука — не то чтобы шлепнуть или дернуть за ухо. Неловко чувствовала себя и за едой. Ей ни в чем не отказывали, более того — без конца угощали: «Пейте, кушайте...» Но ведь и это можно сказать по-разному. Отношения с невесткой с самого начала не были простыми и сердечными, и, конечно, их улучшению никак не способствовало то, что невестка за глаза поругивала свекровь, а той об этом иной раз сообщали досужие соседки. Говорят, дыма без огня не бывает, и, наверное, не случайно Сонунбалу не покидала мысль о том, что она в этом доме в тягость.

Иное дело у Кенеша, младшего. Там она почти хозяйка. Во всяком случае, все хозяйство, все вещи перешли в его семью от нее или даже сделаны ее собственными руками — и вышитый ковер на стене, и ширдак на полу, да и многое другое.

Кенеш и его жена Турар душевно обрадовались Сонунбале. По этому случаю даже зарезали барашка и пригласили в гости соседей. Турар подарила свекрови новенькое плюшевое пальто. Сонунбала, как и ожидала, с первой минуты почувствовала себя легко, спокойно. Она жила окруженная вниманием и заботой сына и его жены. Кенеш, рослый и неуклюжий, отличался мяг-

костью характера и добротой; маленькая, улыбчивая и очень застенчивая Турар была как-то на удивление ему под пару. Глядя на них, Сонунбала иногда ощущала притупленную временем, а некогда такую острую боль за свою разбитую войной женскую судьбу. Она не вмешивалась в хозяйство, да, пожалуй, теперь, когда никто не бросал на нее исподтишка неодобрительных взглядов, когда малейшее ее желание предупредительно исполнялось, она и не чувствовала в том потребности. Большую часть времени проводила она, полеживая на мягкой постели с двумя хорошими подушками под головой.

Пусть себе полеживает, а мы пока расскажем об одном старике. Одиноким старике лет шестидесяти с хвостиком, по имени Арзыбек. Этот поступил по-своему: не захотел жить ни в семье у одной из двух замужних дочерей, ни у женатого сына. После смерти жены остался в своем старом доме. Если кто-либо из сверстников заговаривал с ним о его странном для людей существовании, Арзыбек отшучивался:

— Эх, батыр, я лучше всех вас живу. Мне не приходится сидеть на пороге повесив нос и ждать, пока невестка соблаговолит приготовить обед.

— А если помрешь один в доме да никто не узнает?

— Одному богу ведомо, кто, когда и как помрет и кто о ком заплачет...

— Пускай так. Ну ты хоть скажи, как с грязным бельем справляешься?

Арзыбек смеялся:

— Справляюсь! Стираю по ночам, привык уже.

— Хороша привычка, пропади она пропадом!

Нельзя сказать, чтобы Арзыбека не уважали. О нем заботились, часто навещали, посылали гостинцы. Да и дочери не забывали отца: приносили еду, готовили, стирали. Он, в общем, не страдал от одиночества.

Но как-то раз друзья старики собрались к нему в дом и пристали неотступно:

— Не хочешь жить у детей — посватайся. Вон хоть к матери Кенеша, она как раз приехала. Ну, что скажешь?

— К Сонунбале? — только и нашелся спросить Арзыбек.

— К ней.

— Как это?

— Ай, досадный старик! — всплеснул руками один из пришедших. — Еще спрашивает — как! Да так, обыкновенно! Что же еще остается, если к детям не хочешь?

Арзыбек захохотал, обнажив красные десны. Засмеялись и заботливые друзья, а один из стариков, чтобы поддать жару, предложил:

— Не нравится тебе Сонунбала, сватай Батму!

Забыв о своих седилах, громко, как молодые, захотали все, когда увидели, что при одном имени Батмы Арзыбек вздрогнул.

Имя старой Батмы в аиле обычно произносили с прибавлением слова «несчастливая». Трудно было, глядя на нее, поверить, что когда-то и она была молодой. Вся высохшая, с темным, сморщенным лицом, на котором жизнь оставила только одно живое выражение — ожесточенности, проходила она по улице, поминутно оглядываясь, словно кто ее преследовал. В разговоры с людьми вступала не часто, только по необходимости, и смотрела при этом собеседнику в глаза таким острым, страдальческим взглядом, что человеку поневоле становилось неловко. В аиле знали, что Батму ее невестка не просто не любит, а прямо-таки ненавидит и чуть не вслух желает ей сдохнуть поскорее... Старуха не всегда сыта, за едой она бывает неопрятна, однажды невестка застала ее за тем, что она пальцем залезла в стакан с

компотом, оставленный для внука. А сын Батмы? Он человек мирный, уравновешенный и пуще всего боится, чтобы скрыто враждебные отношения между матерью и женой не перешли в открытую схватку.

У Батмы было одно поистине прекрасное человеческое качество: она беззаветно любила внуков. Для них она жизни бы не пожалела. Невестка знала это и потому иногда готова была прощать свекрови ее действительные и мнимые недостатки и ошибки.

Арзыбек же знать не знал о любви Батмы к детям. Да и какое ему до этого дело? Он почти боялся неприятной старухи и всячески избегал ее...

Долго ли, коротко ли, но делегация стариков отправилась-таки к дому Кенеша, где тем временем Сонунбала лежала, по обыкновению, на постели и о чем-то думала.

Когда гости уселись в ожидании чая, старик Досберди, к которому очень хорошо относился Кенеш, первым начал разговор:

— Как ты себя чувствуешь, Сонунбала?

Немало удивленная приходом стариков, Сонунбала ответила негромко:

— Слава богу...

Досберди взял быка за рога:

— Кенеш, сынок, вот мы, аксакалы, собрались и пришли к тебе потолковать о важном деле.— Он отхлебнул чаю из пиалы и посмотрел Кенешу в глаза.

— Пожалуйста, аксакал, говорите. Чем могу, рад помочь,— отвечал Кенеш, предполагая, что старики о чем-то хотят попросить его.

— Спасибо. Ты всегда радуешь нас,— поблагодарил хитрый Досберди, чтобы тем самым предотвратить отрицательный ответ.— Мы, сынок, нашли спутника твоей матери.

Кенеш чуть не упал. Он переводил глаза с матери на неожиданных сватов и явно не знал, что сказать.

— Ты разумный человек, сын мой. Арзыбек — неплохой старик. Он тебе будет вторым отцом, если бог поможет. В аиле его уважают, но он, как ты знаешь, одинок.

Турар, которая разливала и подавала чай, еле удерживалась от смеха. Гляди-ка, к старухам тоже сватов засылают! А Сонунбала сидела мрачная и, вздыхая, вспоминала покойного мужа. Кенеш опустил голову и молчал.

Но старики хотели получить ответ немедленно.

— Ну, что ты об этом думаешь, сынок? — вмешался в беседу еще один из сватов. — И ты, Сонунбала, скажи свое слово.

— Ай, — поднял голову Кенеш. — Но ведь у матери сейчас и хозяйства никакого нет...

— Что об этом беспокоиться? У Арзыбека дом обставлен, все есть...

Наступило неловкое молчание.

— Вы позвольте нам между собою посоветоваться, — попросил Кенеш, которого от беспомощности даже пот прошиб.

Старики признали такой ответ уместным и достойным и удалились. Едва за ними затворилась дверь, Турар прыснула. Улыбнулся, глядя на мать, и Кенеш.

— Что это они, мама?

— А, с ума сошли на старости лет! — отмахнулась Сонунбала, но смех невестки ей, по правде говоря, не понравился.

Кенеш плюнул и встал. Надо было сообщить новость старшему брату.

Старший брат отличался немалым самолюбием. Новость привела его в бешенство.



— Гнать надо было этих стариков в три шеи! — крикнул он, округлив глаза. — А, чтоб им, неужели мы не в состоянии прокормить мать и готовы сплавить ее какому-то дурацкому старику? Надо же дожить до такого!

Кенеш сидел, как в рот воды набрал. Да и что скажешь — брат ведь прав!

— А мать что?

— Да я ее и не спрашивал...

— Ну, так пойд и сообщи этому твоему Досберди, что мы еще живы пока. Как-нибудь сумеем мать прокормить. Если они все так беспокоятся о судьбе Арзыбека, пускай отдадут ему своих старух!

На том дело и кончилось. Кенеш поговорил с Досберди. Старики, узнав о неудачном исходе сватовства, только головами покачали сокрушенно. К Сонунбале ее сыновья стали относиться еще более внимательно, чем до сватовства. И никто, конечно, не узнал, что в глубине души она была склонна принять предложение Арзыбека.

Сам Арзыбек между тем, получив отказ, вдруг как-то разочаровался в своей самостоятельной жизни. И думалось ему теперь все чаще, что хорошо бы, приходя домой, видеть, как мелькает по двору белый головной платок. Непокойно ему стало и одиноко. Каждый день он выходил теперь за калитку и подолгу сидел на лавочке. Прохожие здоровались, он отвечал, а потом, запустив руку в бороду, почесывал подбородок и бездумно глядел вслед ушедшему. Он сам ясно не признавал, насколько глубоко проникся мыслями о своем одиночестве и том, жалеют его люди за это или осуждают.

Однажды шла мимо него Батма.

— Батма, поди-ка сюда! — неожиданно для себя позвал он и даже помахал хвостинкой, что держал в руке.

Батма подошла своим скорым, мелким шагом.

— Куда ты все бежишь? Какая прыткая! На старости лет пора бы и поспокойнее стать...

Старуха охнула, присаживаясь рядом с ним на скамейку. Посидела, помолчала, глядя куда-то вдаль...

— Прыткая, говоришь... А ты сам-то? Я слыхала, жениться надумал. Да разве отдали бы за тебя Сонунбалу ее зажиточные сыновья? Совсем ты, видать, из ума выжил...

— Отстань ты, не я надумал к ней свататься!

— Кто бы ни надумал, а сватался ты. Не о свадьбе, о саване тебе размышлять пристало!

Арзыбек обиделся.

— Чего раньше времени к смерти готовиться? Тебе бы только уколоть!

— Это уж точно... Не хочешь помирать, сиди карауль свою халупу. К детям бы перебирался.

— Да уж кому, как не тебе, знать, что за жизнь старому человеку в доме, где хозяйничает невестка,— не сдержался Арзыбек.— Что, неправду я говорю?

— Правду. Только, видишь ли, мне плевать на то, что невестка желает моей смерти. Я-то жива. И живу ради внуков, были бы они, мои милые, здоровы и счастливы.

Арзыбек не возражал ей. Впервые он задумался о том, что Батма, хоть и неважно ей живется в семье у сына, любит его ребятишек.

Немного погодя Батма поднялась со скамейки

— Пойду-ка я... А ты совсем раскис. Говорю тебе к детям прибивайся, поближе, легче будет.

— Батма, погоди... Не хочу я к детям. Они и так помогают мне...— Он взял Батму за руку — худую, ссохшуюся, покрытую крупными старческими веснушками.

Батма отняла руку и посмотрела на Арзыбека с нескрываемой насмешкой:

— Ну, что ты хочешь мне сказать? Попался, джигит!

Арзыбек собрался с духом.

— погоди, Батма. Не надо насмехаться. Если бы ты согласилась пойти за меня...

Батма успокоилась и, словно не слышала произнесенных Арзыбеком слов, смотрела, приставив ладонь козырьком ко лбу, на что-то в конце улицы.

— Ну, как ты? — спросил старик, и голос у него дрогнул.

— Никак. Не могу я за тебя выйти. Как бы меня ни допекали, как бы ни ругали, с детьми жить хочу. Это для меня главное. Хватит тебе! Не дай бог, услышит кто.

Арзыбек такого ответа не ждал и окончательно пал духом. Потом ему пришло в голову, что надо попытаться подействовать на Батму через Досберди и других сватов. Не тут-то было. Старики считали, что хватит им сраму с одним неудачным сватовством... Вернувшись домой после неприятного разговора с друзьями, которые сами же и навели его на мысль о женитьбе, Арзыбек долго, очень долго сидел у каляитки.

Ночь — он провел беспокойно, снился ему нелепый сон, будто живут они вместе с Батмой и ссорятся, кажется, из-за денег... А наутро, чуть свет, подъехала ко двору Арзыбека скрипучая арба. На арбе сидели сын с невесткой и двое внуков. Старик встал с постели, выглянул в окно и, увидав своих, быстро оделся.

— Чего это вы в такую рань? Или собрались куда? — спросил он, поздоровавшись.

— Никуда мы не собрались, — ответил сын, улыбаясь в усы, и снял с арбы одного за другим ребятешек. — За вами, отец, приехали. И не возражайте, не спорьте, мы слушать больше ничего не хотим.

Сын жил неподалеку. Старик, будто не слышал его слов, побрел к дому.

— Ну-ка, давай в дом да собери, что понадобится,— сказал сын жене.

Молодуха тотчас скрылась за дверью.

Арзыбек сказал медленно, не глядя на сына:

— Да ведь что здесь, что там... все едино.

Сын усмехнулся:

— Если все едино, так и пошли. Чай дома будем пить.

Он подвел ребят к старику:

— Поручаю вам отвести дедушку домой.

Мальчишки ухватили деда за руки — и Арзыбек сдался. Он пошел с внуками, приговаривая: «Ладно, ладно уж, озорники, идемте». Непереносимый холод одиночества отпустил его сердце, и казалось ему, что даже кровь быстрее бежит по жилам.

Невестка Арзыбека вынесла из дома свернутую постель. Посмотрела свекру вслед, спросила мужа:

— Чего так торопишься? Лучше собрать все не спеша...

Он рассмеялся:

— Лежал бы он в постели, я бы его так, вместе с постелью, на арбу погрузил. Нет, уж лучше, когда без подготовки, не то он примется думать да размышлять, да еще и откажется...

Он вошел в дом и пнул ногой полуразвалившийся сундук у порога.

— Что старику тут сидеть да глядеть на все это вонючее барахло? Пускай лучше телевизор смотрит.

Жена протянула ему маленький сверток:

— Гляди, что я нашла.

Он вынул из бумаги фотографии и вышитый носовой платок.

— Мамина фотография. Помнишь, мы просили, а он не дал нам?

— А платок?

— Это, наверно, мама вышивала...

...Арзыбеку в доме у сына вроде бы пришлось по душе.

Сонунбала после всех этих событий решила на некоторое время перейти к старшему сыну. Пробыла у него с месяц, потом вернулась. Но и Кенеш и Турар заметили, что она переменилась. Стала обидчивой, даже раздражительной и уже не так ласкова была с детьми.



Мне нравится бывать у моего племянника. Он удачно женился,— во всяком случае, для меня в этом нет никакого сомнения. Невестку нашу люблю не меньше, чем собственных дочерей. На редкость приветлива и обходительна эта славная женщина, она всегда встречает вас как дорогого гостя, хотя бы явились вы к ней в дом незванным и неожиданным. Я старый педагог, и, признаюсь без

утайки, подобное отношение мне весьма и весьма по сердцу. Не везде его встретишь, согласитесь... Нет, далеко не везде.

Что бы невестка ни делала — наливает ли чай, берет на руки своего малыша, просто поглядит на вас большими, кроткими глазами, — она сама естественность и мягкость. А какие у нее ловкие, легкие руки! Сколько бы человек ни сидело за столом, она всем успевает все подать вовремя, деликатно, любезно, ни чашкой, ни ложкой не звякнет, переставляя посуду.

Стоит посмотреть на нее, когда она приходит в магазин с нарядной и опрятной хозяйственной сумкой. Есть особая прелесть даже в том, как она спокойно, с достоинством дожидается своей очереди.

— Будьте добры, скажите, сколько стоят вон те чулки? — спрашивает она, и поистине каменным должен быть продавец, чтобы тотчас не ответить на вопрос, заданный так вежливо и таким обаятельным голосом.

Короче говоря, вот вам мое вполне сложившееся мнение: в невестке на удивление естественно и гармонично воплотились лучшие черты наших киргизских женщин. Конечно, она живой человек, не шедевр искусства, а людям свойственны недостатки или, лучше сказать, несовершенства. Быть может, есть несовершенства и у нее. Но вот кое-кто, например, утверждает, что невестка любит только себя, что она чересчур собой гордится, а в других замечает одно плохое, что она в самом хорошем может отыскивать дурные стороны. Вы спросите: кто именно так говорит о ней? Знайте же, что я ни рассуждать, ни слышать об этом не желаю. Более того, я испытываю безотчетный страх, когда мне заходит разговор о ней — даже среди близких людей. Боюсь — вдруг кто-нибудь неуместным замечанием нарушит мое цельное представление о человеке, об-

рушит ком снега на мои теплые чувства. Это, наверное, уже стариковское, раньше я не знал подобных страхов.

Мой племянник? Я не мог бы определить одним словом, что он за человек. Даже несколькими словами не мог бы. Я не совсем понимаю его. Впрочем, понимаю ли я вообще нынешних молодых людей? Не знаю, умнее ли они, чем мы, но в одном я убежден: они шагу не сделают просто так, без определенной цели. Говорят, мой племянник умеет строить бюджет семьи, а проще сказать — ведет точный учет доходов и расходов. Зря деньги не тратит. Черной домашней работы не чурается. И никогда не жалуется ни на материальные, ни на какие иные трудности в семейной жизни. Все это скорее хорошо, чем худо, не так ли?

На людях муж и жена внимательны друг к другу. А не на людях?.. Ах, мне хотелось бы, чтобы он от всего сердца любил жену! Она этого достойна. Такая женщина должна каждое утро просыпаться с улыбкой...

Все мы когда-то были молоды, и, что греха таить, разное в жизни случалось. Глядя на молодых людей с высоты своего житейского опыта, мы иной раз хотели бы предостеречь их, удержать от того, чего не следует делать, уберечь от ошибок, совершенных некогда нами самими. Это ведь так легко — давать советы, качая головой не без театральной красоты и облекая свои суждения в изящную словесную форму...

Да, так вот, приходит ко мне однажды племянник, которого я вам охарактеризовал как человека, не любящего распространяться на тему о своей семейной жизни.

— Ну как?.. — спросил я и почувствовал, что вопрос мой прозвучал несколько натянуто. Вначале я хотел сказать: «Ну как там невестка?» — но что-то в лице племянника удержало меня.

— Хорошо, — ответил он.

— Что ж, главное, чтобы сам был здоров и на рабо-



те все в порядке. Остальное приложится,— сказал я, продолжая ощущать неловкость.

— Хорошо,— повторил племянник, но вид его ничуть не соответствовал смыслу этого высказывания.— Мне хотелось бы поговорить с вами... минут десять...

— Пожалуйста. Позволь, однако, тебя заранее попросить, чтобы ты не возлагал на меня какие-нибудь неожиданные и неприятные хлопоты.

— Полагаю, что вам ничем подобным заниматься не придется.

— Отлично. Тогда пожалуйста...

Племянник посмотрел мне в глаза и невесело усмехнулся.

Мы вышли в сад и уселись на длинную скамейку в тени урюка. Чужало мое сердце, что речь пойдет о невестке. Если я угадал... и если это нечто для меня неприятное,— немедленно встану и уйду. Племянник сорвал травинку и вертел ее в руках, внимательно разглядывая. Видимо, он избрал себе это занятие, чтобы не сразу начать разговор. Так сказать, соломинка, за которую хватается утопающий.

— Ты, кажется, собирался о чем-то поговорить со мной.

Племянник бросил травинку, отвернулся от меня... Сорвал другую.

— Ну, говори же...

— По правде, дядя, я немного стесняюсь.

— Если уж пришел, чего стесняться?

Он помолчал, отбросил вторую травинку и наконец решился:

— Вы правы, дядя, незачем стесняться, если необходимо посоветоваться о важных вещах. Я перестал верить, нет, правильнее было бы сказать, я начал сомневаться в вашей невестке. Между нами как будто возникает охлаждение...

Все ясно... У меня нет ни малейшего желания слушать дальше.

— Оставь пустые разговоры,— сказал я.— Я от тебя этого не ожидал. Ты сомневаешься! Как можно допустить хотя бы тень сомнения по отношению к ней? Что бы ты ни сообщил, я не хочу тебе верить! И не хочу слушать.

Я собирался встать.

— Нет, дядя, я очень...

Я перебил племянника:

— «Очень»! Тебе надо очень подумать. Поговорим в другой раз.

Племянник замолчал. Сидел опустив голову — воплощенная безысходность. Уйди я сейчас — он останется так сидеть навечно, не иначе!

Мне стало жаль парня. Я снова прочно уселся на скамейке и пустился в рассуждения:

— Если подумать, сынок, у подобных вещей есть глубокие исторические корни. В старину жен покупали, выменивали на скот. Вспомни пословицу: «Не за старика выдают, за его денежки!» Любовь сильнее смерти, но там, где девушек отдают за нелюбимых, попросту говоря — продают замуж, нет места чувствам. Нынче все обстоит по-другому.

Племянник приподнял голову.

— А потому по-другому,— продолжал я,— что люди теперь сами находят друг друга. Где есть взаимное уважение, там и доверие, внутренняя близость. И если некто третий в своих личных интересах стремится разрушить чувство двух людей, живущих семейной жизнью, это скверно с его стороны, очень скверно. Но тем более продуманно и осторожно надо принимать какие бы то ни было решения.

Племянник поднялся.

— Я не ревную ее, дядя, мы ведь давно женаты.

Я хочу лишь одного: чтобы мы были откровенны друг с другом и не прибегали ко лжи и обману.

— Желание, достойное честного, благородного человека.

Он вздохнул.

— Я пришел просить у вас совета. Что делать? Прочтите, пожалуйста, эту записку.

Он вытащил из внутреннего кармана маленький клочок бумаги. Мне не хотелось брать эту бумажку в руки.

— Не стоит,— сказал я.— В природе золото, как ты знаешь, встречается чаще всего с ненужными примесями. И тем не менее никто на этом основании не отказывается от золота. Его очищают, отбрасывают все ненужное — и золото начинает сверкать. Люди в своих отношениях должны уподобляться золотоискателям...

Не знаю, какое впечатление произвели на племянника эти мои слова. Во всяком случае, он ответил:

— Я либо не умею очищать золото от примесей, либо не вижу этих примесей вообще. Потому и пришел к вам за помощью.

Да, все это непросто, очень непросто. И чревато взрывом. Малейшая неосторожность может этот взрыв ускорить или усилить.

— Ну, давай,— протянул я руку, и, когда брал у племянника записку, дрожала не только рука, но и весь я. По мне, легче было бы взять ядовитую змею...

«Я уезжаю в воскресенье в три часа. Если сможешь, приходи в час. Не сможешь — прощай!»

Вот и все, что было там написано.

— Кто это написал? — с нескрываемым отвращением спросил я.

— Ее друг. Почерк мне знаком.

— А ты где взял эту поганую бумажку?

— В печке... ну, в плите,— с трудом выговорил племянник.

Не знаю, на кого и на что я в эту секунду разозлился так, что вскочил с места с несвойственной мне быстротой, даже дыхание перехватило. Больно кольнуло сердце...

— И ты вот так... доискивался до подноготной... копался в грязи.

Племянник съежился.

— Ты с нечистыми намерениями подобрал давно выброшенную рваную бумажку, принес ее сюда, треплешь нервы человеку... Да понимаешь ли ты, как это называется?

Сердце у меня ужасно колотилось, я больше не мог выдержать ни минуты этого тяжелого разговора. Кое-как заковылял к дому.

Добравшись до своей комнаты, бросился за помощью к старому другу — сердечному лекарству. Друг испытанный и верный, всегда старается успокоить меня.

Я плохо спал ночью, хоть и уговаривал себя не волноваться. Наутро встал поздно. Моя бедная старушка очень беспокоилась за меня.

— Чем тебя так расстроил этот негодник? — едва поздоровавшись, спросила она.

— Он ни в чем не виноват. Скажи, какой сегодня день?

— Воскресенье.

— Воскресенье?

— Ну да.

— А который час?

— Десять.

Ну, еще рано. Далеко до срока, назначенного в проклятой записке. За чаем вчерашняя история не шла у меня из головы. Как бы племянник чего не натворил. Не дай бог, чтобы рухнул семейный мир в этом славном доме...

Когда стенные часы пробили одиннадцать, я встал

и направился к выходу. Жена подала мне палку и поддержала под руку.

— Да не тревожься ты,— сказал я.— Прекрасно я себя чувствую. Не надо меня сопровождать, занимайся своими делами. Я просто пройду немного. Скоро вернусь.

— Какие еще прогулки, лучше бы полежал.

— Дай-ка мне лекарство.

Принял дозу «старого друга» и, подкрепив себя таким образом, отправился к племяннику.

Пришел я к ним в половине двенадцатого. Дома все обычно. Племянник встречает меня в высшей степени уважительно. О невестке и говорить нечего. Она, как всегда, мила, обаятельна, чиста, точно ангел. Нет, немыслимо, чтобы она вступила на дурной путь!

— Стал последнее время болеть и обнаружил, что мне чрезвычайно помогает и такое целебное средство, как небольшая прогулка,— объявил я.

— Это дело известное, людям пожилым прогулки очень полезны,— поддержал меня племянник. И обратился к жене: — Ты поставь самовар, время к двенадцати, сегодня выходной.

Невестка молча взяла самовар и вышла. Племянник держал на руках маленького сына и забавлял его.

Я чувствовал себя неприятно. Иначе быть и не могло: ведь каждый из нас думал одно, а говорил другое.

Невестка вошла в комнату снова, занялась чем-то у буфета, а племянник тем временем сказал как бы невзначай:

— Током в половине первого собирается к доктору, ночью она себе места не находила.

И снова беспокойно стукнуло мое сердце. Стало быть, невестка еще ночью начала подготовку.

— Разве в воскресенье есть прием? — спросил я.

Племянник искоса глянул на жену.

Невестка ответила негромко и не поворачиваясь к нам:

— Знакомая, акушерка Клава...

Племянник усиленно занимался сыном,— чтобы не смотреть на меня. Но было ясно, что на душе у него кошки скребут.

Невестка очень скоро приготовила чай. Она спешила. За чаем племянник начал хитрить.

— Если Клава дома,— сказал он,— сходи попозже, часа в три. Мне надо по делу...

— Вы, наверное, можете уйти оба, куда вам нужно. Возьмите ребенка с собой, а дом на замок,— вмешался я.

Невестка только посмотрела на мальчика, а племянник сказал:

— Она хочет оставить его дома.

— А, понятно,— неизвестно зачем ответил я.

— Клава просила прийти именно в час,— проговорила невестка своим нежным голосом.

— Да никуда она не денется! Сходи попозже или бери малыша с собой...

На это невестка промолчала, только чуть шире раскрыла глаза.

Таким вот манером попили мы чаю, и невестка начала собираться. Взяла свою красную сумку, открыла, заглянула в нее и снова закрыла. Ушла в другую комнату.

Времени было около половины первого.

— Ты хоть ребенка покорми,— попросил ее муж.— Как бы не расплакался...

— Он сыт,— невестка произнесла это, на мгновение высунув голову из двери другой комнаты.

Когда она в плаще и красиво повязанной косынке прошла мимо нас, повеяло запахом хороших духов. Я невольно приложил руку к груди — боялся, что снова заболит сердце.

Мальчуган захныкал.

— Ну, покорми же маленького...

Молодая женщина несколько секунд пристально и не слишком ласково смотрела на мужа, потом быстро пошла к двери. И тут, как на грех, появилась соседка, старуха Чурче.

— Током, детка, ты, я вижу, собралась куда-то, а веретено-то мое...

Невестка досадливо сморщилась:

— Ай, боже мой! Вернусь и отдам! — Она захлопнула дверь, и с веранды донесся быстрый перестук ее каблучков.

Старуха обратила к нам растерянное лицо. Племянник успокаивал плачущего сына. А я сидел и потирал рукой левую сторону груди, — сильно разболелось мое сердце в этом доме, у мирного очага, где есть порядок... полный порядок, но уже нет тепла.

РАЗОШЛИСЬ...



Боюсь, что не сумею как следует рассказать о том, о чем очень давно и очень часто думаю. Это моя история, то есть история, которую я пережил сам, хорошо все помню... но кажется, мне, что не найду я слов, которые бы все поставили на место.

Как начать, с чего начать? Право, не знаю. Ну вот хотя бы такой вопрос: как вы относитесь к красивым женщинам?



Я спросил и чувствую, что зря. Вообще-то не так уж часто нам, мужчинам, встречаются красавицы, которые влюбленно смотрят нам в глаза и одаряют нас серебристым смехом и сладкими словами. И не потому, что они чересчур строги и недоступны; просто жизнь отмеряет красоту по особой мерке, дабы она не утратила своей цены. И наверное, потому же мужчины так упорно мечтают о красавицах. В свое время я без памяти влюбился в женщину, которая, на мой взгляд, была очень хороша собой: черноглазая, чернобровая, невысокая, но стройная смуглянка. Надо ли объяснять, что я женился раньше, чем постиг обратную сторону ее очарования. Впрочем, опять я не то говорю. Подпаив под очарование, можешь ли думать о недостатках? Приходит пора создавать семью, и в этот ответственный момент мы, как нарочно, забываем о том, какие трудности могут встретиться на этом пути, беспечно от них отворачиваемся, стараемся, так сказать, не искать их. А чего ищем, это само собой понятно. Подругу жизни, спутницу, которая была бы рядом и в зной и в холод. Если она притом хороша собой — великолепно! Как говорится, лишний достаток голову не расколет.

Итак, смуглянка была со мной; кровь закипала у меня в жилах, когда она, подрагивая бедрами, проходила мимо, либо с улыбкой поглядывала на меня, либо прижималась ко мне, такая хрупкая и беззащитная. Не было числа минутам упоения любовью, страстью, нежностью... Нет, друг мой, теперь я не стану утверждать, что им не было числа. Жизнь с тех пор успела доказать мне, что в мире нет ничего бесконечного, всему ведется счет, и за добро, и за зло приходится платить из собственного кармана. От этого человеку никуда не уйти.

Ровно через восемь месяцев после того, как она вышла за меня замуж, жена моя родила сына.

Не помня себя от радости, вышагивал я туда-сюда

перед дверью родильного дома и молил бога о том, чтобы поскорее дал мне возможность взять сына на руки.

Я не религиозен. Не знаю, откуда пришли ко мне на язык слова, обращенные к богу. Потом я начал заглядывать в окна роддома, надеясь увидеть лицо моей любимой. Теперь можно было сказать и по-другому — лицо матери моего ребенка. И в конце концов я ее увидел. Она лежала на кровати, одетая в халат. А рядом с нею — запеленатый новорожденный. Жена побледнела и, кажется, похорошела. Заметив меня, слабо улыбнулась. — Я-то улыбался во весь рот, больше того — я громко и радостно смеялся.

Я помахал жене рукой и побежал в магазин покупать коньяк и шоколад в подарок медсестрам. Руки у меня дрожали от волнения, лицо сияло, и люди надо мной посмеивались.

Приближался день выписки из роддома, и я принялся обрабатывать одного моего земляка, обладателя машины, упрасивать его, сидя с ним за кружкой пива, чтобы он привез домой мою жену с ребенком на своем «Москвиче». У меня есть преданные друзья, но имеются и враги. Негоже будет на глазах и у тех и у других явиться на арбе либо на грузовике с поставленными в кузове для удобства пассажиров скамейками.

Из машины мы вышли вполне торжественно, но тут моя старшая невестка толкнула меня в бок. Я обернулся.

— Очнись ты, чего сияешь? Веди себя как мужчина...

Я постарался взять себя в руки, но мне это не удалось. В дом потянулись одна за другой соседки. Я плохо понимал, что надо делать. Единственное, что сумел сообразить, — угостить женщин вином.

Жена сидела на кровати, кормила малыша грудью и время от времени улыбалась, глядя на него. А я смот-

рел на них обоих и думал о том, что нет на земле ничего святее материнства. Мать дарит миру человека...

Жена моя скоро окрепла. Я старался создать для этого все условия. Ничего не жаль во имя семейного счастья и благополучия.

Через три месяца сын уже умел улыбаться. Мы с женой оба смуглые, а мальчик светлый, румяный, на личике едва заметный белый пушок. Я, бывало, распеленаю его, положу к себе на грудь, а он дрыгает ножонками, точно лягушонок, царапает меня острыми ноготками и все старается поднять головенку. Радость моя, жизнь моя!

Но однажды произошел неожиданный и странный случай.

Утром я играл, как обычно, с мальчиком, а жена подошла, приласкала нас обоих и прилегла рядом со мной.

— Погляди, нос у него точь-в-точь такой как у тебя,— говорит и смотрит с улыбкой мне в глаза.

— Нет,— отвечаю, я без всякой задней мысли.— У меня нос, видишь, немного приплюснутый, а у него прямой, даже чуть с горбинкой.

— Чем же он на тебя похож? — спрашивает она.

Мне эти ее слова не понравились.

— Разве он обязательно должен быть чем-то похож на меня?

— Не на тебя, так на кого же?

— По-моему, на человека. Потому что и ты, и я — люди...

Жена сердито вскочила.

— Почему же ты не скажешь, что он похож на меня? — нахмурилась она.— Тебе только остается заявить, что он не твой сын.

Сердце у меня так и подпрыгнуло. Что это значит? Как можно говорить такие вещи?

— Разве я сказал что-нибудь подобное?

— И без слов все ясно, если ты утверждаешь, что нос у него не твой...

— Боже мой, да разве его нос хоть сколько-нибудь напоминает мой?

— Напоминает! — мрачно и решительно заявила жена.

— Хорошо, — вынужден был я согласиться. — Мне все равно. Пускай так.

Сердце мое словно вынул кто-то жесткой рукой из груди и окунул в ведро с ледяной водой, но я ничем не показал, насколько все это неожиданно и больно для меня.

Сынишка заплакал.

— Возьми запеленанного его, — обратился я к жене. — Спать хочет.

— Вот и пеленанного сам, если надо! — отрезала она и вышла из комнаты такой походкой, что половицы задрожали.

Я ошеломленно глядел ей вслед. Малыш уже не плакал, прижавшись лицом к моей груди, искал губами сосок. Я прислушался: не возвращается ли жена, но из-за двери не доносилось ни звука. Я походил с малышом по комнате, побаюкал его, но он не успокаивался. Я вышел наружу. Все тихо. Мирно дремлет двор в тени деревьев. Никого. Плач сына надрывал душу, я начинал злиться. Мальчик совсем охрип и скорее обессиленно стонал, чем плакал. Через полчаса он все же уснул. Почти тотчас пришла невестка, а вместе с ней — и моя жена. Невестка старалась казаться спокойной. У жены глаза покраснели от слез.

Невестка взяла сына.

— Как наплакался, весь потный, — с жалостью сказала она.

— Пускай сам ухаживает за своим сыном,— бросила со злостью жена. Она ходила по комнате, собирала какие-то вещи. Непонятно, что она намеревается сделать, какую еще неприятность преподнесет...

— Что произошло? Вы поссорились? — спросила невестка.

— Джене, я и не думал ссориться, просто она ни с того ни с сего разозлилась, у ребенка нос...

Невестка не дала мне договорить:

— Оставь это... Нос у мальчика точь-в-точь как у тебя. Что ты, как маленький, споришь из-за этого?

— Да я об этом и не думал совсем, что я, дурак, что ли?

— О чем же ты думал?

— Ни о чем, просто лежал, и все...

— Если ты просто лежал, зачем тебе понадобился этот нос? Как тебе не стыдно!

— Чудачка вы, джене! — не утерпел я. — Надо же знать, о чем говоришь, знать цену своим словам!

— Ну хватит! — Джене встала. — Не дай бог, люди узнают. Вы еще молодые, не надо так. Золовка прибежала ко мне в слезах, а в доме чужие были, стыда не оберешься. Веди себя как следует, тебя считают скромным человеком. Разве можно поднимать шум из-за такого пустяка? Ну, прощайте, я пошла. А ты, золовушка, тоже будь помягче. Мало ли что мужчины сболтнут сгоряча. Если все принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится.

И она ушла. А жена опустила платок на самые глаза и забилась в угол, будто невесть какую обиду перенесла от меня.

Я же сидел и думал, что многого, оказывается, не знаю о своей жене.

Она тем временем начала перепеленывать сына, двигалась быстро, как человек, принявший определенное решение. Взяла ребенка на руки и пошла к двери.

Снова вспыхнуло во мне предчувствие близкой беды.

— Ты куда?

С ожесточенным лицом, не ответив ни слова, она вышла.

Только на одну секунду ее горящие глаза встретились с моими. В них было такое отвращение, такое негодование... Тьфу! Да что все это значит? Рассказать кому — не поверят. Я даже не подозревал, что у моей жены такой характер. Может, все дело во мне? Я начинал чувствовать себя чуть ли не преступником. Стыдно было выйти на улицу, перед людьми стыдно, — казалось, все уже знают. Мне и в голову не приходило, что, как говорится, ни к чему сироте лихорадка, не стоит бесплодными сожалениями усугублять сложность положения.

Жена вернулась домой поздно вечером.

Я не спрашивал, где она была. Но после ее возвращения начал внимательнее присматриваться к ее поведению, прислушиваться к ее словам. Ничего подозрительного, вызывающего сомнение, я не обнаружил и мало-помалу душевно оттаял.

Три дня после этого не было между нами никаких недоразумений. Я вручил жене бразды правления, — с меня оказалось довольно одного урока. Оборвавшаяся было связь начала восстанавливаться. Обида испарилась, исчезла сама собой.

Однажды жена спросила:

— Почему ты такой неоткровенный, почему не говоришь о том, что у тебя на сердце?

— Да мне попросту нечего скрывать.

Она помолчала, подумала и вдруг сказала:

— Не люблю я таких людей. Ведь ты и сейчас неискренен.

— Господи помилуй, да что мне, выдумать, что ли, какую-нибудь тайну?

Она на это ничего не ответила. А я не придавал значения разговору.

Назавтра, когда я вернулся с работы, в доме было прибрано, уютно, пахло чем-то душистым. Двор тщательно подметен, все на местах. Ничего ведь особенно-го, правда? А я был счастлив...

\* \* \*

Сыну моему, которого я про себя называл Рыжиком, исполнился год. Он уже начал ходить. В это время жена сказала мне, что снова забеременела. Чудесно! Я взял на себя чуть ли не все заботы по дому и насколько этого не стеснялся: жене нужен покой... и мне, по правде говоря, тоже. Терпеть не могу шума в доме. Я старался во всем угождать жене,—только бы в семье было ладно, только бы чего не вышло.

Не знал я, какая неожиданная беда обрушится на меня. Что там беда — настоящее несчастье!

Однажды я рано вернулся домой. Жена сидела на полу, удобно вытянув ноги, и, негромко напевая, укладывала какие-то вещи в единственный принесенный ею с собой в дом чемодан. Я спросил:

— Чай есть?

— А вон кипит,—она кивнула головой в сторону плиты.

Я взял Рыжика на руки, начал с ним играть, приговаривая: «Сейчас будем чай пить, мама даст нам чаю-ю!»

— Сам налей,—сказала жена и возобновила прерванную песню.

— Что случилось?

Она посмотрела на меня с пренебрежительным сожалением:

— Налей да пей, говорю... Что бы ты сделал, если бы меня не было? Не купил же ты меня себе в рабыни...

— Странно... Что за непонятная обидчивость?

Она как будто и не слыхала моих слов, все тянула свою заунывную песню и укладывала платье в чемодан. Потом вздохнула и поднялась.

— Есть у людей такое замечательное качество, как человечность,— сказал я.— Ты, кажется, привыкла поступать только по-своему. Но ведь когда я уходил, все было в порядке.

Она несколько секунд пристально смотрела на меня и на сына: «Что с вами поделаешь?» Потом наклонила голову и начала одеваться.

— Да что случилось, скажи во имя всего святого!

— Оставайся со своими замечательными качествами, ко мне не приставай!

— Разве я пристаю к тебе?

Она передернула плечами и надела плащ. Как она изменилась — ни капли теплоты не осталось в лице.

— Куда ты собралась?

— Я уйду.— Она глянула мне прямо в глаза. Слова прозвучали обыденно-равнодушно — так может их произнести ненадолго зашедший в дом посторонний человек.— Хорошенько смотри за сыном.

— Но почему и куда ты уходишь?

Она не ответила. Взяла чемодан и, даже не поцеловав Рыжика, пошла к выходу.

— А другой?! — крикнул я в отчаянии.

— Кто?

— Ребенок, который должен родиться...

— Ребенка нет,— ответила она и провела левой ладонью по животу.

— Но ты говорила...

— Мало ли что я говорила! А теперь говорю другое: не могу больше жить с тобой, не люблю тебя!

И хлопнула дверью.

Я задохнулся от внезапно нахлынувшей злобы.

— Не люблю!.. Убить бы тебя, а там под суд...



Только это я и сумел — произнести несколько запальчивых слов. Сидел и не мог пальцем шевельнуть. Чайник бурно кипел на плите, вода выплескивалась, шипела... Все было кончено. Она ушла — я никак не мог этому поверить. Но она ушла на самом деле!

Много лет миновало с тех пор. Я никогда больше не встречал ту женщину. Рыжик вырос. Он ничего не знает. Жизнь берет свое; не выдержав тоски одиночества, я женился снова. Жена радостно встречает меня, когда я прихожу домой. Характер у нее хороший. У нас есть дети.

Но почему-то я не могу забыть свою первую жену. Иногда я думаю о ней с болью и страстным желанием. Она не одна ушла из дому, она унесла с собой частицу моего «я». И потому я до сих пор ощущаю себя как будто не вполне человеком. Меня охватывает гнев. Я все думаю — что же сделал такого, из-за чего она бросила меня...



Старуха Койсун-эне принялась точить своего старика в самый разгар теплого, ясного и мирного утра. Она раздувала самовар, морщилась от того, что зола попадала ей то в глаза, то в нос, и бранилась. Каждый попрек — яростный, хоть и не очень понятный — сопровождала она поворотом головы в сторону сеновала, где находился безответный предмет ее раздражения, копившегося не один день.

Старик спустился с сеновала по приставной лестнице. Поправил накиннутый на плечи простой черный чапан и, понуро опустив голову в белой стеганой чеплашке, побрел к столбу, возле которого был привязан «серый иноходец». Прожитые восемьдесят с лишком лет согнули спину; походка сделалась преувеличенно осторожной — так ступают по земле только очень старые люди.

— Господи-и... — не унималась старуха. — Идет-то как, а... Того и гляди, умрет на ходу.

Старик остановился, протер маленькие глаза тыльной стороной большого пальца и, не поворачивая головы, сердито скосился на старуху:

— Замолчи ты! Грызешь с утра пораньше...

— «Грыжешь»! — передразнила Койсун. — Слова толком выговорить не может! Другой на твоём месте давно бы привез. Дают — так бери, не понимаешь, что ли!

— Что сам предложил, от своих слов не откажется. А тебе я вот что скажу: провались они к черту в пекло, эти кирпичи, если из-за них столько ругани!

— А я тебе говорю, езжай за ними!

— Я за ними и собираюсь. Не видишь? Совсем из ума выжила на старости лет!

Койсун-эне подняла самовар и внесла его в дом. Посмотрела из окна на узкую, сгорбленную спину мужа, на глубокую впадину у него на затылке — и в сердце шевельнулась жалость. Состарился, одряхлел... А ведь не было ему когда-то равного среди джигитов...

«Серый иноходец» славился в аиле быстротой и выносливостью. Не было, пожалуй, двора, для которого он бы не потрудился. Повозил на своем веку и кизяк, и дрова, и муку, и сено... Весною, в мае, и ребяташки выпрашивали его у хозяина — съездить в горы за ревенем. Старик никому не отказывал, как будто был уверен, что силе и терпению его ишака конца нет. Поворачивал

голову и молча указывал подбородком в ту сторону, где был привязан ишак: берите...

Бывало, перепадал ишаку корм не хуже того, что дают корове. Сейчас, когда подошел к нему хозяин, ишак наставил торчком длинные уши — ждал доброго слова. В больших смиренно-кротких глазах светилась надежда на ласку. Старик же молча выдернул железный штырь из плотно утоптанной земли, на которой травы росло не больше, чем на хорошем току, и повел ишака к дому. Во дворе ждала их обоих небольшая арба с железными колесами. Ишак, завидев ее, прижал уши и попятился, но хозяин хлестнул его по шее арканом:

— А ну, скотина!

Старик недавно поставил новый дом в четыре комнаты, незаконченной оставалась только плита — не хватило на нее примерно двух сотен кирпичей. Один дальний родственник, который работал на строительстве, пообещал кирпичи достать. За ними-то и надо было теперь ехать.

До центра колхоза отсюда километра три. Там сейчас работают строители. Ехать удобнее по старой проселочной дороге — ближе и в стороне от грузовиков, снующих по шоссе. Старая дорога вьется по предгорью, заросшему желтой акацией, тянется вдоль поля, то и дело пересекая бегущие с гор ручьи. Еще с дедовских времен чуть поодаль от поселка начали хоронить умерших. Год от года число вечных обитателей увеличивалось, кладбище росло, и дорога теперь шла мимо самых могил, — мимо человеческих судеб, скрытых под землей...

Старик долго возился, запрягая ишака.

— К дочке наведайся, — велела старуха, присаживаясь на скамейку возле двери. — Узнай, не собирается ли в город.

Она пристально наблюдала за каждым движением старика, и жалость к нему не проходила.

— Поддай-ка мне калпак<sup>1</sup> и плетъ!

Почти что музыкой прозвучали в ушах Койсун-эне эти решительные слова. Она поднялась не спеша, уперла левую руку в бок и направилась к дому походкой, исполненной необычайного достоинства. Старик забрался на арбу, подложил под себя старый потник и ждал, забрав в руку вожжи. Койсун-эне вышла наконец. Калпак и плетъ она держала за спиной и выступала ни дать ни взять молодухой, которая провожает мужаджигита на войну... Принесенные из дому вещи она, впрочем, бросила на арбу весьма небрежно и строго наказала:

— Возвращайся поскорей!

Повозка задребезжала. Выбравшись на дорогу, «серый иноходец» решил показать, на что он способен, и быстро-быстро засеменил ногами, старательно помахивая головой. Уши повисли в стороны и вздрагивали в такт движению. Издали похоже было, что по дороге бежит серый паук с темной спиной.

Обогнув пологий уступ, поросший колючей караганой, старик догнал старуху Куйке, что шла пешком по дороге. Он натянул вожжи и остановил арбу. Остановил лихо — будто не на арбе сидел, а верхом на непокорном скакуне и не старушонку обогнал, а молодую девушку.

— Это ты, Куйке? Здравствуй!

Старуха остановилась и, придерживая рукой поясницу, с трудом распрямила спину.

— А я смотрю, кто это. Здравствуй, здравствуй...

— Ты куда?

— Я-то? Да сват наш, казах-то, помер. Нынче хоронят.

---

<sup>1</sup> К а л п а к — киргизская мужская войлочная шляпа.

— Вот оно что...— Старик помолчал.— Прости его аллах. Хороший был человек... Садись-ка.

Куйке заботливо подобрала подол черного плюшевого платья и поставила ногу на ступицу колеса. Старик бросил взгляд на старухины новые ичиги с калошами. Привстал, расстелил потник так, чтобы и старуха могла сесть на него. Куйке устроилась на повозке и затихла, прижав руки к груди и думая о чем-то своем. Вид у нее был такой, словно она и на белый свет родилась старухой. Старик хлестнул серого. Колеса запрыгали по мелким камешкам, тряска донимала стариковские кости.

Но дорога не вся была каменистая. Въехали в конопляник, и колеса мягко покатались по черной земле. Сделалось по-особенному тихо и хорошо, только гудели над конопляником шмели и пчелы да высоко в небе заливался жаворонок. Во всем мире, чудилось старику, остались только он да Куйке на этой старой дороге; воспоминание о далекой поре пришло вдруг к нему, он заморгал, вздернул подбородок и спросил все так же тихо сидевшую Куйке:

— Ты про то дело-то помнишь?

Должно быть, Куйке помнила, потому что на ее морщинистом и давно поблекшем лице вспыхнул слабый румянец. Но она тотчас взяла себя в руки.

— Про какое?

Старик еще раз хлестнул вожжами ишака и поглядел на старуху хитровато: «Неужто и впрямь забыла?»

Мало что на свете не забывается. Иной раз уходит из памяти и то, что хочется помнить. А бывают такие вещи, которые остаются в душе сами собой, неизвестно почему.

— На похороны собираешься? — спросила Куйке.

— Как не пойти,— отвечал старик.— Надо бросить горсть земли на могилу, без этого нельзя. Но мне не сообщили...

— Теперь не прежние времена... Конных гонцов не рассылают,— возразила Куйке. Лицо у нее было замкнутое и неподвижное.— Младший-то вчера еле поспел на этом... как его... матасекле, что ли.

Старик промолчал. В словах Куйке о прежних временах прозвучал намек на то, о чем он старался ей напомнить. Проехали еще немного. Ишак завернул к арыку. Он привык пить не разнузданным, тянул воду жадно, не переводя дыхания и громко булькая. Старик опустил вожжи и сидел, глядя на Куйке спокойно и даже отрешенно.

Отсюда видно было, как по шоссе проносились машины, но грохота не слышно. Стрекот кузнечиков мешался со щебетом птиц, негромко журчала вода в арыке. Красивые птички с огненно-красным пятнышком на груди суетились среди зарослей черныбыльника. Одна из них присела на камень у самой воды и, подрагивая хвостиком, любопытно поглядывала на ишака. На сырой песок у арыка опускались ярко-голубые мотыльки и снова взлетали, озабоченные своим, мотыльковым, пропитанием. Солнце припекало все сильнее, округа млела в его лучах во всей своей летней красе. Ветер нес запах нагретой солнцем пыли.

«Серый иноходец» напился, глубоко вздохнул и замер на месте, развесив уши. Хозяин его задумался о прошлом и совсем забыл про ишака. Старое сердце билось беспокойно при мысли о том, что случилось давным-давно и осталось загадкой.

— Если ты забыла, то я не забыл, нет,— сказал старик.— Шалые мы были тогда, в молодости. Могло ведь так получиться, что погибла бы ты от моей руки. Близко к тому было...

Куйке молчала. Что теперь толковать, дело прошлое, и зачем про него поминать? А сердиться и вовсе не к чему...

— Ты был не в себе, но ведь и я тоже,— заговорила она.— И за что ты бил его, за какое преступление?

Старик усмехнулся.

— Ты ишака-то чего не погоняешь? — напомнила Куйке.

Он спохватился, прикрикнул на ишака и дернул вожжами.

— Коли дерутся люди, так не из-за доброго слова. Он меня бил, и я тоже... не стоял сложив руки.

— Он умер,— взяла Куйке под защиту покойного мужа. — А ты все помнишь... К чему так?

— Я бы давно забыл, если бы побил меня мужчина. Но женщина... Как забыть такое?

— Ты тогда уж очень заносчив был, задира́л всех,— решила́сь сказать Куйке.— А после той драки вроде поумнел.

— Так, так,— старик снова усмехнулся, но в усмешке была горечь.— Ты потом и на глаза мне не показывалась.

— А зачем мне было с тобой встречаться? Только лишняя неприятность, и все! — вздохнула Куйке.— Я за дверь выскочила, гляжу — ты хлещешь его плетью почем зря. Жутко мне стало за него. Я туда, я сюда — ничего нет. Бегаю, ищу, схватила, что под руку подвернулось. Сгоряча и не поняла, что это было. Испугалась сильно. А это жердь оказалась. Ударила тебя по голове, ты чуть с коня не упал, только за гриву успел ухватиться... Слышу, кто-то говорит: «Молодец, дочка!» Оглянулась — свекор. Я бросила жердь да бежать...

У старика в душе подымалась старая обида. Стыдно это было, позорно. Но он не сказал ни слова. Молча смотрел на Куйке, качая головой. Прошло порядком времени, пока он спросил:

— А за что ты зло на меня держала? Я ведь два месяца после того на люди не выходил.



Куйке на это никак не хотела отвечать и прикрыла рот рукавом. По лицу ее, однако, скользнула тень тайного удовлетворения.

События далеких и горячих молодых лет ожили в памяти стариков так ощутимо, как будто все произошло только вчера. Оба задумались. В привычно размеренное течение стариковских мыслей ворвалась горечь, обида, непонимание, казалось бы давно уже похороненные под грузом лет. И Куйке теперь не отводила взгляда от старика; в глазах ее, окруженных путаной сеткой мелких морщин, было сомнение...

На джайлоо Арчалу-Айрык аил обосновался примерно в середине июня. Юрты торчали тут и там по берегу ручья, подымался над каждой дымок и таял где-то высоко, в небесной синеве. Трава была по пояс. Возле коновязей и овцевязей она скоро полегла. Далеко по окрестности разносилось конское ржание, мычание коров, бление ягнят, собачий беспокойный лай. Старики радовались возможности посидеть и потолковать друг с другом на свободе в свое удовольствие. У молодежи иные заботы: возле ельника ребята установили шесть столбов для качелей, вырыли в земле несколько очагов — кемеге. А девушки ластились к родителям, чтобы те «не замечали», как они уносят из юрт мясо, масло, каймак для угощения во время ночных гулянок. Молодухи возились у очагов, готовили еду, девушки и парни качались на качелях, и веселила сердце незатейливая, но задорная мелодия темир-комуза. Затевали игры — в «волки и овцы» в «белую палочку»... Бывало, что одна такая ночь рождала чувства, определявшие всю жизнь человеческую. Чувства простые, чистые, счастливые — и неповторимые, как ночь, под покровом которой они возникали.

Куйке было тогда пятнадцать лет; она приехала на джайлоо вместе с матерью, остановились они у дяди, материного брата. Молодежь и в этот вечер собиралась

у ельника. Куйке пошла туда вместе со своей двоюродной сестрой Кулипой, совсем уже взрослой девушкой. Им обеим было весело и легко. Серебряные украшения, мониста из сердоликов и кораллов негромко позвякивали при каждом движении... Куйке сейчас почти слышала этот нежный перезвон, слышала смех парней и шутки молодых.

Потянул прохладный ветерок, луна спряталась за облаком. В «белую косточку» обычно играют при лунном свете: кто водит, бросает обструганную палочку, стараясь закинуть подальше, а остальные ее отыскивают. И при этом, конечно, разбиваются на пары — джигит и девушка. На этот раз играть в «белую косточку» пришлось в темноте. Куйке искала вместе с джигитом из соседнего аила. Звали его Султан. Их обоих охватывало и толкало друг к другу в эту ночь влечение сильное, сладостное и понятное им одним. Куйке хорошо запомнила Султана. А у него в памяти только и осталось горячее дыхание хрупкой молчаливой девушки.

После той ночи Султан часто приезжал в Арчалу-Айрык за кумысом, но не встретил, не нашел свою «молчальницу». Ни одна из тех девушек, что скромно сидели в юртах на отведенном обычаем месте, ничем не была на нее похожа. И не загоралось при виде его ни у одной из них в глазах хотя бы следа того чувства, что владело Султаном и девушкой при их ночной встрече. Шли месяцы, годы, и ушла из памяти Султана та девушка, как увиденный однажды ночью приятный сон.

А Куйке надолго сохранила тепло их встречи. Она виделась потом с Султаном, но он всегда оставался при этом равнодушен. Женская гордость не позволяла ей открыться, она стойко терпела страдания невысказанного чувства. Любовь ее к Султану не остыла и тогда, когда ее выдали замуж. Надо же — как раз в его аил...

Глаза Султана оставались для нее чужими, холодными. У Куйке ныло сердце, и любовь ее мало-помалу переходила в ненависть. Она годами хранила в самых укромных уголках вышитые для Султана платки, и узоры на них вобрали в себя ее тоску и страстное желание.

Накануне той драки, о которой нынче заговорил с нею Султан, Куйке была одна дома, когда он подъехал и не спеша привязал коня к коновязи. Куйке вспыхнула огнем. Вскочила, снова села. Она не знала, как ей вести себя. Волоча по земле плетъ, Султан вошел и, глядя на молодуху равнодушными, как всегда, глазами, спросил:

— А где Сопу?

Куйке с трудом заставила себя ответить:

— Уехал куда-то верхом совсем недавно...

Султан не обратил внимания на печальное, растерянное и беспомощное лицо молодой женщины. Он постоял, бездумно вперив взгляд в стенку юрты, обернулся к Куйке:

— Скажи ему, что я приходил, он знает зачем.

И перешагнул порог. Куйке между тем собиралась предложить ему айрана и уже наполнила чашку. Он и этого не заметил. Приподнялась и, резко хлопнув, опустилась навесная дверь юрты. У Куйке подкосились ноги, она села на пол у порога. Чашка с айраном выпала из рук и раскололась пополам.

Эта встреча не просто охладила — заморозила, превратила в вечный лед чувство Куйке к Султану. Само имя его стало ей противно. И видеть его ничуть не хотелось.

Десятки лет миновали с тех пор. Свершились великие исторические события. Время разгадало многие загадки. Но и теперь, уже старик, Султан не может узнать тайну, которая скрыта в душе у Куйке, — не мо-

жет, сколько бы ни расспрашивал ее, сколько бы ни думал об этом сам...

Арба приближается к центру. «Серый иноходец» бодро перебирает крепкими ногами. Впереди поодаль виднеются надгробия кладбища, печальной неподвижностью своей напоминая о вечном покое. Султан и Куйке молчат. Колеса арбы перескакивают с камня на камень. И подпрыгивают на арбе двое стариков — два легоньких сундучка за семью замками...



Джигит по имени Серенбай часто бьет свою жену Кашим.

Кашим — скромная и простая женщина. Пять лет назад, совсем юной девушкой, вышла она за Серенбая. Эти пять лет были для нее тяжкими, несчастливыми. Нельзя сказать, чтобы Серенбай был глуп. Он ничем не хуже других мужчин, когда трезв. Вся беда в том, что трезвым он приходит домой редко. Когда он

является пьяный и, пошатываясь, переступает порог, Кашим мечется перед ним испуганной куропаткой. Бывало, она пробовала бранить, укорять его, но потом сама привыкла и его приучила к тому, что заискивает перед пьяным. Не дай бог, Серенбаю не понравится что, — он первым делом начинает шваркать о пол вещи, посуду, потом хватает жену за волосы, наматывает их на руку, а другой рукой молотит ее по чем попало. Кашим кричит, но чем громче она кричит, тем больше колотушек ей достается. Насажав жене синяков и шишек, Серенбай нога за ногу плетется из дому прочь — «допивать». А Кашим, проклиная судьбу, вынуждена успокаивать плачущего сынишку.

«Чем провинилась бедная Кашим?» — жалели ее соседи. Но никто еще не нашел ответа на этот поистине сложный вопрос. Мало-помалу все как-то привыкли к скандалам в семье Серенбая. Да и то сказать, чем поможешь горемычной? Вступишь за нее (бывало и такое) — вдвое сильнее изобьет жену Серенбай. «У собаки и нрав собачий» — таким, вполне верным и справедливым, суждением по адресу Серенбая успокаивали соседи свою совесть...

А у Кашим одна мечта, одно желание: бросил бы Серенбай пить, стал бы человек человеком. Она все надеялась, что наладится у них жизнь как у людей, прекратятся в доме ругань и побои. Но каждый прожитый год тяжелым камнем падал на эти надежды. Родился у них сын. Кашим назвала его Рысбек — Счастье, думала заворожить свою судьбу. Нет, не заворожила. Больше того, в последние два-три года ничего не купила в дом, ни ложки новой, ни плошки. Поглядишь вокруг — народ живет все лучше. Даже одинокие женщины, вдовы, не терпят нужды, имеют достаток. Только у Серенбая в семье житье-бытье не улучшается, остается на прежнем уровне. Но если говорить точно, что же это означает? Не улучшается — стало быть,

ухудшается, вот что это означает, и ничего другого не скажешь.

Родня у Кашим — люди среднего достатка. Все они знали, каково ей приходилось. Но сама Кашим родным не жаловалась и ни о чем их не просила. Наоборот, старалась скрывать от них свои неприятности, не показываться никому из родных на глаза, если на лице у нее следы побоев. Ну а поскольку она молчала, родные не считали уместным и полезным вмешиваться.

Особенно боялась Кашим тех дней, когда рабочим в совхозе давали зарплату. Она, с одной стороны, и ждала их: получала свои деньги, это первое, а второе — что какие-никакие жалкие рубли перепадали после попойки от Серенбая. Все до копейки он пропивал редко, рублей пять-шесть обычно оставалось, рассованных по карманам. Если бы Кашим, когда она была еще не замужем, кто-нибудь сказал, что придется ей шарить у мужа по карманам, она не поверила бы. Теперь же она делала это каждый раз, когда Серенбай засыпал пьяный. Он валился на кровать прямо в одежде, только сбросив на пол пиджак. Она же торопливо совала руку в один карман, в другой... Брала деньги со страхом, потому что Серенбай как ни пьян, а помнил, сколько у него осталось... но брала. Не могла не брать — нужда заставляла, необходимость латать хотя бы самые заметные прорехи в хозяйстве.

Как-то раз Серенбай пришел в день зарплаты позже обычного. Была уже ночь, Рысбек давно спал, а Кашим сидела у постели сына, усталая, даже и не думая ни о чем. Сидела, уперев взгляд в новые ботинки, которые купила мальчику сегодня, — старые уже нельзя было починить.

Серенбай не скандалил — слишком был пьян. Сразу уснул. А Кашим, погасив свет, все сидела возле Рысбека и не заметила, как задремала, опустив голову на

край его кровати. Только под утро она очнулась и перелазала на свое место.

Наутро Серенбай долго лежал на постели в одежде — как уснул. Его душил кашель. Лицо застыло в мрачном оцепении. Кашим приготовила чай. Надела на сына новые ботинки. Рысбек обрадовался, но отца словно и не замечал, не подходил к его постели. Немало времени тому назад Серенбай, пребывая в благодушном настроении, подарил сыну маленькую игрушечную машину. Она была цела и невредима, и теперь Рысбек играл с нею, не смея, впрочем, слово громко сказать. Он чувствовал себя свободно только вдвоем с матерью, когда отец уходил из дому.

Серенбай пошевелился.

Оба тотчас посмотрели в его сторону — и мать и сын. Но он снова затих, и они опять занялись каждый своим делом.

За окном послышался топот конских копыт. Всадник остановился, окликнул: «Серенбай, где ты там? Серенбай!» Это был бригадир.

Серенбай поднял голову, велел Кашим:

— Выйди к нему.

И когда она была уже у двери, добавил:

— Зови в дом.

Скоро вошел бригадир.

— Ну, батыр, ты, я вижу, опять шаманил.

— Выпил вчера лишку.

— Видел я, видел, как ты домой добирался. Завфермой ставит тебя на полив. Пошли?

— Как же я нынче пойду? — Серенбай сунул руку в один карман, в другой... — Кашим, сходи-ка, а?.. Голова совсем дурная у меня.

Бригадир только этого и ждал. Едва Серенбай договорил, бригадир уселся и принялся на все корки ругать завфермой:

— Попался же нам этот непутевый! Жизни никому



не дает! Я ему толкую, что Серенбая, мол, на полив ставить не годится, а он...

Кашим ненавидела бригадира. Здесь он ругает завфермой, а пойдет на ферму — начнет еще хуже поносить Серенбая. Двучичный. И все это знают.

Она стояла у двери, дожидаясь, пока Серенбай достанет деньги, и радовалась, что оставила ему с ночи на опохмел, не все взяла и спрятала.

— Вчера... — начал Серенбай, протягивая деньги жене. — Вчера Бекбасар, наверно, тоже хорош был. Сначала один, даже звать его как, не знаю, в общем, один джигит, уважительный такой, поставил бутылку. Выпили мы, тут Джолболду другую берет. А потом и поехало... Кажется, я малость окосел. Пить-то не собирался, пошел сыну ботинки покупать... И вот набрался...

История, рассказанная с такой честной обстоятельностью, была ложью от первого до последнего слова. Привычной ложью пьяниц, которых всегда кто-то чуть ли не силой заставляет пить, принуждает, уговаривает, умоляет.

— Был я у Бекбасара, он тоже вроде тебя, лежит, на голову жалуется. Посылал бабу за бутылкой, мне поднес стаканчик, — покачал головой бригадир. — На работу идти не может... Я скажу, что он на поливе, а завтра посмотрим...

Серенбай промолчал.

Вернулась Кашим, подала чай, подала и водку. У Серенбая, когда он наливал водку, стакан позвякивал о бутылку...

На улицу они вышли вдвоем — и наткнулись на завфермой. Завидев бригадира и Серенбая, он резко повернул в их сторону.

— Ну, идешь на полив? — спросил завфермой у Серенбая. — Полдень на дворе, а ты дома сидишь! Здоровый мужик, работал бы, как другие, так и зарабатывал бы. Три года назад камень привез, дом собирался ста-

вить,—так и ставишь до сих пор. У всех уже новые дома, один ты не удосужился... Не ребенок, пора помнеть...

Кашим в доме радостно прислушивалась к этим словам.

— Я сейчас,—насупился Серенбай.

— «Сейчас»! Вчера до ночи сидел около магазина, глушили водку, как воду. Разумный человек не станет сейчас на водку все деньги просаживать. Мне за тебя перед людьми стыдно, за жизнь твою такую. Эх, будешь ты, придет время, пальцы кусать! Хотел тебе помочь, спрашивал тебя, чего надо. Советовал дом строить. Я, что ли, за тебя его построю?

— Дом я и сам могу построить,—буркнул Серенбай.— Я работаю и деньги зарабатываю, милостыни ни у кого не прошу пока.

— Поглядите на этого умника! Ой, как я испугался, что ты ко мне за милостыней придешь! Не об этом разговор. Брось чепуху городить! Работай, как все, тогда и дом построишь. А не послушаешь, твое дело! — Завфермой зашагал прочь.

Бригадир еще успел сказать так, чтобы завфермой услышал:

— Сколько можно тебе твердить, чтобы шел на работу? Валяй иди, я потом приду, проверю.

Мигом забрался в седло и пришпорил коня.

А Серенбай вернулся в дом и долго сидел в мрачном раздумье, потом, громко сопя, начал стаскивать сапоги. «Лечь собрался!» — сообразила Кашим и начала стелить постель, поправлять подушку.

— Убери! — приказал Серенбай.

Встал, снял брюки. Кашим не могла понять, что он затеял. Рысбек на всякий случай перебрался со своей машиной в дальний угол. Серенбай, оставшись в одних подштанниках, прикрикнул на жену:

— Чего стоишь, давай штаны похуже и резиновые сапоги!

— На полив идешь?

Серенбай только глянул на нее: «Не на свадьбу же!..»

Он поливал кукурузу, истомившуюся по воде, и ему казалось, что поникшие, жухловатые широкие листья на глазах оживают, зеленеют. Серенбай шагал от арыка к арыку, умело и вовремя перекрывая одни ответвления, пуская воду по другим...

Обедать идти собрался он, когда солнце уже опускалось к горизонту. Он спрятал лопату в кукурузе, помыл сапоги и постоял над арыком, покурил. Заметил вдруг, что к дороге сбегается народ, и сам пошел туда же посмотреть, что случилось. Вроде бы авария, машина перевернулась. Подойдя совсем близко, Серенбай содрогнулся. Не машина перевернулась, а трактор с прицепом. Тракторист — парень из их аила. Они не раз пили вместе. Опрокинулся в кювет. Все четыре колеса трактора обращены были к небу. Завалился и прицеп. Люди вытащили тракториста из-под трактора. Левая рука погибшего нелепо торчала кверху, словно он хотел за что-то ухватиться. Лицо, разбитое, распухшее, уже почернело. Глаза раскрыты, изо рта протянулась по подбородку струйка крови. Из кармана нового черного плаща высовывается пачка «Прибоя».

— Эх, бедняга! — пожалел кто-то, смахнув слезу. — Только утром встретил я его около магазина. Выпил парень, шел такой веселый, довольный...

Серенбай, чувствуя, что у него мутится в голове, подошел поближе к мертвому трактористу. В это время поднялся шум, крик, — к месту происшествия скакали верхом, бежали люди. Спешили так, словно еще можно было оживить погибшего. Отец парня, его старший брат, другие родственники...

Серенбай раньше только слышал о таких несчастьях,

своими глазами не видел ни разу. Ему стало плохо, сердце бешено колотилось. «Надо уйти,— решил он.— Зря я подошел. Как бы не заболеть!» И заспешил домой. По дороге он старался не думать об увиденном.

Но в ушах стояли крики и плач женщин. В глазах у встречных чудился один вопрос: «Ты что-нибудь знал?» А если бы знал, что тогда? «Водка, это водка все наде-лала!» — звенело в ушах. «Разве его силой заставляли пить? Не пей он — мир не перевернулся бы!» Так он брел, безвольно опустив руки и глядя в землю. Не человек — выходец с того света, которому в здешнем мире все чуждо и ненужно.

Серенбай не знал, как добрался до дому. У двери играл Рысбек. Серенбай встрепенулся, ожил. Вот ради кого стоит жить на свете! Подбежал к сыну, подхватил его на руки, начал целовать. Солнце заливало лучами двор и дом. Серенбай вдруг заметил скворчиху, — держа в клюве кузнечика и оживленно чирикаая, сидела она у скворечника, пристроенного над матицей. В это время из дома вышла Кашим. Серенбай перевел взгляд на нее и тут же опустил глаза. Впервые увидел он, как она жалка. В заношенном платье, обута в старые, стоптанные сапоги. Испуг застыл на лице, а около глаз уже набежали мелкие, частые морщинки.

— Пойдем, сынок, в дом, — вздохнул Серенбай.

Мальчугану нравилось, что отец ласков с ним, он весело вскрикивал. Кашим, не веря самой себе, смотрела на них, потом улыбнулась — и морщинки у глаз удлинились...

Погибшего тракториста похоронили.

А дней через пять после аварии в аиле начали оживленно обсуждать новое событие: Серенбай бросил пить.

— Интересно, надолго ли его хватит? — сомневались одни.

— Бросить — это проще простого, — качали головами другие. — Главное удержаться, чтобы не запить снова.

Весь месяц Серенбай работал то на поливе, то еще где и заработал шестьдесят восемь рублей. Впервые в жизни все до копейки принес и отдал Кашим. Она убрала эти деньги вместе со своими на самое дно чемодана. Никогда еще за всю их совместную жизнь не бывало у них целой сотни. Серенбай наутро поднялся рано, обошел двор и остановился возле строительного камня, привезенного три года назад. Долго стоял, смотрел на окруженную зарослями высокого бурьяна груду и решил: «Пора строить дом!»

Кашим сговорила со старушками мастерицами, чтобы сшили ей одеяла. Когда они явились в дом, подала чай и с удовольствием слушала их медлительные, нудные разговоры: было приятно, что вот и у них в доме сидят люди, беседуют честь по чести... Она улыбалась старухам.

— Когда Серенбай пил, — говорила она, словно о далеком прошлом, — сколько раз собиралась я взяться за эти одеяла, все руки не доходили. Да и Рысбек только возле меня вертелся. Теперь купим ему трехколесный велосипед...

— Верно, верно, ребенку нужна такая вещь, с которой он мог бы сам заниматься, — подхватила одна из старух.

— Завтра или послезавтра пойдут вместе с отцом покупать. Скопили немного денег, отчего не истратить на дело? Люди каждый пятак в сберкассу несут, а я дома деньги держу, карман они не продырявят...

— Правильно, деньги лучше при себе иметь. Понадобятся — и вот они, бери, сколько надо, — одобрила другая старуха, насыпая ложкой сахару себе в чай.

— Дом хочет строить, кирпич, говорит, надо делать. Ну что ж, надо так надо... Мы не хуже других, —

продолжала Кашим, а третья старуха протянула ей пустую пиалу:

— Налей-ка, дочка, еще, хороший у тебя чай. Вы молодые, работаете оба — все будет у вас.

— В этом месяце мы вдвоем больше сотни заработали,— сообщила Кашим старухам последнюю, самую важную новость.

Пока старухи занимались одеялами, Серенбай, вернувшись с работы, копал яму под фундамент.

Скоро начали класть стены.

Однажды вечером Серенбай пришел домой к заведующему фермой.

— Заходи, рассказывай, как дела,— пригласил хозяин.

— Мне бы работу получше.

Завфермой задержал на нем взгляд.

— Ты давай садись, угощайся... Хочешь, значит, денежной работенки?

Серенбай улыбнулся:

— Хотя бы на строительстве...

— Ладно, поставлю тебя на строительство загона, там надо поскорее дело кончать.

Серенбай присел к достархану, подали блюдо плова.

— Ты, кажется, дом ставишь? — спросил завфермой, ловким движением забрасывая в рот кусок жирного мяса.— В этом году навряд ли закончишь.

Серенбай кивнул головой. Он брал плов ложкой, понемногу.

— Помидоры есть? — обратился хозяин к жене.

Та вышла, вернулась с полной тарелкой соленых помидоров. Завфермой слизнул с большого пальца приставший кусочек жира, потом занялся помидорами: нарезал на ломтики острым ножом и положил на блюдо.

— Ешь вместе с пловом, вкусно,— предложил он и взял пиалу с чаем.— Ну, бросил водку?

— Бросил, пропади она пропадом!

— Дело, знаешь ли, не в том, пить или не пить. Главное, чтобы человек умел владеть собой. Не жадничать — и все!

С этим Серенбай не мог не согласиться. Он дал зарок — и не пил. Водка не снилась ему по ночам, а если днем приходило желание выпить — он сдерживался.

Серенбая включили в бригаду, занятую ремонтом базы в предгорье.

Однажды под вечер зашел к нему один из старых дружков, Тынай. Под хмельком. Не успел войти, зашумел:

— Той! Идемте на той! Сын родился... Секе-аксакал, что с тобой случилось? Ай-яй-яй! Я сам пришел приглашать тебя в гости, той у меня... А ты дом-то какой отгрохал, верно я говорю? Идемте, выпьем, закусим...

Кашим посмотрела на Серенбая, а Серенбай отвернулся к окошку. Не нравился ему пьяный Тынай...

— Ну, идемте...

— Я устал нынче очень, — ответил Серенбай.

— Не-ет, ты это брось, батыр! К тебе пришли, а ты обижаешь, разве это можно? Разве отказываются от угощения? О-о, — покачал он головой, — нехорошо, очень нехорошо ты себя ведешь, загордился!

Кашим снова глянула на мужа.

— Ты иди, — кивнул ей Серенбай.

Но Тынай не мог допустить такого вопиющего нарушения приличий.

— Нет, нет, нет! Только вместе, я приглашаю обоих!

— Отстань, Тынай, я не могу пойти.

— Правда? Тогда ты не человек!

— Я очень устал, да и не пью я... а там люди выпившие, начнут уговаривать.

— Ты на самом деле не пойдешь?

— На самом деле, Тынай, ты уж не обижайся.

— Ладно! Тогда выпьем здесь, — Тынай вытащил пробку из початой бутылки, которую достал из карма-

на.— Кто не мог ко мне пойти, поздравляли меня именно так!

— Кашим, принеси стакан,— тихо сказал Серенбай.

— Ой, что ты, ведь я не пью, ты знаешь,— замахала руками Кашим.

— Принеси стакан, я сам выпью...

Лицо у Серенбая потемнело.

Кашим — делать нечего! — подала стакан. Тынай налил, протянул стакан Серенбаю. Тот в нерешительности поглядел на стакан, потом на Тынай.

— На, на, бери!

У Серенбая дрожали пальцы, когда он потянулся к стакану. Водку он выпил одним махом — как пил прежде.

Кашим замерла в напряжении.

Тепло разлилось у Серенбая по всему телу, на висках выступил пот. Соскучился он по водке..

Тынай, который, кажется, и сам не ожидал, что Серенбай станет пить, сказал только:

— Ну, на здоровье... От чистого сердца.

Налил еще водки и протянул стакан Кашим, но она отвернулась. Тынай понял: пора уходить.

— Спасибо вам, мне пора,— он встал и, заткнув бутылку свернутой бумагой, шагнул к двери.

Серенбай удержал его:

— Постой, если ты от чистого сердца, так куда же спешишь?

— Мясо еще не заложил в котел, Секе...

— Ночи сейчас долгие,— спокойно сказал Серенбай.— До рассвета три раза успеешь гостей проводить. Верно?

Тынай понял, что попал в переплет... Проклиная себя за то, что зашел за ним, уселся снова.

— Что же ты не наливаешь? — усмехнулся Серенбай.

Хлопотавшая у очага Кашим вмешалась:



— Пускай идет, зачем ты? Ведь его гости дожидаются...

— Да, Секе, я уж пойду, а ты выпей, я тебе оставлю,— Тынай поставил недопитую бутылку на пол и опять поднялся было уходить.

И снова хозяин его удержал:

— Подожди, батыр.— Серенбай тяжело встал.— Мы тоже пойдем, вместе с тобой пойдем.

Он наполнил стакан доверху и поднес Тынаю к самому носу:

— На, пей!

— Не буду!

Тогда Серенбай выпил залпом и этот стакан. Вылил остаток из бутылки, снова протянул стакан Тынаю. Тот пятился, оглядывался на Кашим. Серенбай крепко забрал в руку полу Тынаева пиджака.

— Пей, говорю!

— Не буду.

— Не будешь? Стало быть, и это мне?

— Тебе! Пей сам, а ко мне не приставай!

— Ну что ж, не приставать так не приставать!

И Серенбай с размаху ударил стаканом Тыная по лицу. Хлынула кровь. Тынай бросился на Серенбая. Кашим пронзительно закричала, схватила Рысбека и выбежала вон. В доме поднялся дикий шум, грохот, нельзя было понять, кто кого бьет. Кашим звала на помощь. Рысбек вырвался у нее из рук. Сама она повалилась наземь...

К дому бежали люди, взрослые и дети, мужчины и женщины. Даже старики. Женщины привели в чувство Кашим, успокоили мальчика. Никто не мог понять, что случилось. Тынай с трудом поднял окровавленную голову, застонал...

Почти всю ночь не спал аил, шумно обсуждая происшествие.

А несколько дней спустя заседатели товарищеского

суда, отчаянно дымя папиросами, удалились за кулисы с клубной сцены, на которой сидели во время разбора дела.

Они должны были решить судьбу Серенбая. Сам он не признавал себя виновным, но и поступок свой объяснить собравшимся тоже не смог. Во время споров, которые разгорелись на суде, он и рта не раскрыл. И кажется, только здесь понял он, в чем его обвиняют.

Заседатели вернулись в зал. Когда председатель суда, начав свою речь при полной тишине, коротко рассказал о жизни Серенбая, о его пьянстве, а потом объявил его полностью повинным в последней драке, тот готов был сквозь землю провалиться, сгореть от стыда! Не дождавшись окончания этой ужасной для него речи, Серенбай вскочил. Люди, тесно сидевшие на скамейках в зале, и заседатели на сцене — короче, все присутствующие, как один человек, повернулись к нему. А он с удивительной быстротой очутился у выхода из клуба. Остановившись у самой двери, обвел он взглядом весь зал.

— Совсем не так было дело, — хрипло выговорил он и неловко взмахнул трясущейся рукой. — Я пил, верно. Но подлецом не был никогда. Я говорил: «Не могу пойти!» Отстал бы от меня Тынай — ничего бы и не случилось. У меня... — он задохнулся и рукой, в которой держал шапку, ударил себя в грудь. — У меня тоже есть сердце!

Тихо было в клубе — муха пролетит, услышишь.

— Я не могу жить среди таких людей! — выкрикнул Серенбай. Потом он медленно повернулся и вышел. А в клубе все стояла напряженная тишина...

Серенбай исчез, и никто ничего о нем с тех пор не слышал. Но говорить говорили. Кто обвинял его, кто жалел Кашим, но больше всего ругали Тынай:

— Зачем ты водку ему предлагал?

— Ой, но я же сам не хотел пить! — оправдывался Тынай, мотая забинтованной головой.

— А зачем ты ему показывал водку?

— Ой, да ведь я от чистого сердца!

— Ну и что вышло из этого твоего «от чистого сердца»? — не отставали от него.

— Да я... — и, не находя больше слов, Тынай умолкал и опускал голову.

Кашим не имела возможности разыскивать Серенбая, а расспрашивать о нем было не у кого. Оставшись без мужа, она, с одной стороны, чувствовала себя спокойнее, свободнее, но с другой — остро ощущала отсутствие мужчины в доме, отца своего ребенка.

Житейские заботы не давали женщине падать духом. Надо было зарабатывать на жизнь, растить сына. Дни и месяцы тянулись привычной чередой...

\* \* \*

Наступила весна. Снова прилетели скворцы, из года в год возвращавшиеся в скворечник у дома Серенбая. Птицы приводили в порядок гнездо, таскали откуда-то пух, выстилали постель для будущих детей.

В аиле цвел урюк, сады и улицы тонули в бело-розовой пене. Зацвел и абрикос, посаженный во дворе рукой Серенбая.

Распустились листья на тополях, яблони набирали тугие бутоны... В один из этих дней с маршрутного автобуса сошел худой смуглый джигит в плаще, с чемоданом в руке. Он остановился, расправил плечи и несколько секунд стоял и смотрел на аил. Потом поспешно зашагал по знакомой улице. То был Серенбай. Он вернулся в родные места, где все так дорого сердцу; и улица, которая вела его к дому, и ветлы придорожные, и знакомые дома...

У дверей своего дома он увидел Кашим. Она же,

узнав Серенбая, совсем потерялась от неожиданности.

— Ну, здравствуй! — улыбнулся Серенбай. — Как ты? Рысбек здоров? Где он?

Кашим с трудом улыбнулась. Потом вдруг повернулась, убежала в дом. Серенбай — за ней. Он разбудил спавшего еще Рысбека, он спешил скорее достать из чемодана подарки для мальчика и для Кашим...

Когда все трое немного свыклись с неожиданностью встречи, Серенбай умылся с дороги, привел себя в порядок, начал расспрашивать Кашим о ее житье-бытье.

— Да живем, ничего особенного, изворачивались как-то.

— А новости какие?

— Вроде бы никаких. Бригадира сняли.

— И правильно сделали. А завфермой?

— У него все в порядке...

В доме в этот день побывало множество гостей. Пришел и Тынай. Не без любопытства и опасений ждали люди, как они встретятся с Серенбаем. Но встретились они вполне спокойно.

— Не станешь сегодня водкой меня угощать? — пошутил Серенбай. — Справил свой той?

— Справишь, как же, если ты меня огрел бутылкой...

Но в словах Тыная не было ни обиды, ни злости.

Когда гости разошлись, Рысбек уже спал, усталый и счастливый, так и не сняв подаренных отцом обнов. Кашим сидела тихонько и все смотрела на изменившегося Серенбая. Она не могла понять, совсем он вернулся или сейчас снова уйдет. Встала, начала стелить постель, но движения ее были нерешительны, неуверенны.

— Кашим, — Серенбай приблизился к ней, но она чуть ли не шарахнулась от него в самый дальний угол комнаты.

Серенбай осторожно раздел сына, укрыл его и опять заговорил с женой — мягко, негромко:

— Я работал в городе, на заводе. Знаешь, люди там живут очень интересно, и народ все такой разумный. Я токарем стал.

Он рассказывал долго, а Кашим слушала и думала, что никогда раньше не видела мужа таким. Не стало Серенбая — замкнутого, вечно пьяного, буйного и драчливого во хмелю. Да, он совершенно другой теперь...

Серенбай проснулся рано, вышел поглядеть на дом, который начал строить в прошлом году. Дом совсем готов. Тут как раз и явился завфермой. Весело поздоровался, спросил:

— Ну, где пропадал?

— В городе.

— Специальность получил?

— Конечно.

— Вот это хорошо, — сказал завфермой одобрительно, а Серенбай с улыбкой посмотрел ему в глаза:

— Токарь я...

## РЫЖАЯ СОБАКА



Я ни разу не слышал, чтобы эта самая рыжая собака огрызнулась или хотя бы взвизгнула от боли, когда какая-нибудь хозяйка угодит ей камнем в бок... Это обстоятельство и заставило меня призадуматься.

Трудно объяснить, каким образом это существо, будучи всего-навсего собакой, могло проявлять столько выдержки, столько терпения и сдер-

---

Этот рассказ перевела  
В. Семенова.

жанности. Словом, если поведение этой твари объяснять общепринятыми представлениями о жизни, то, видимо, она просто устала... Житейские невзгоды, которые постоянно приходилось ей терпеть, видимо, «надломили ей душу» и довели до непротивления и полнейшего безразличия ко всему окружающему.

Я лично не разделяю мнения тех, кто утверждает, что подобное смирение — врожденный недостаток ее характера... Наблюдая за рыжей собакой, нетрудно было убедиться, что это несчастное существо, робко озирающееся вокруг, беспредельно напугано. Бедняжка боялась не только людей и животных, она с опаской глядела даже на зеленую травку.

Цепные псы, готовые набрасываться на каждую собаку, случайно ночью встретившись с рыжей, делали вид, что не замечают ее. А ведь обычно любая собака, какая бы она ни была, увидев издали приبلудного пса, обязательно помчится за ним с громким лаем, готовая стереть незнакомца с лица земли. Подбежав к нему, она сперва порисуеться, потом задерет хвост и начнет обнюхивать пришельца. Эти повадки известны всем и каждому! Но рыжая собака, даже случайно наткнувшись на щенка, остается безразличной. Она всегда была занята тем, что, осторожно ступая, вынюхивала себе пищу или вечно мокрым багрово-красным кончиком носа рылась в мусорных ямах.

Поведение этой собаки было необычным... Никто не мог заметить, чтобы она двигалась к какой-то определенной цели. Направляясь куда-нибудь, она непременно сворачивала в сторону. У нее не было облюбованного места, куда бы она забегала постоянно или подолгу задерживалась... То ее увидишь, бывало, где-то в заброшенном дворе, то на улице, то у чьего-то крыльца. Даже летом, в знойный полдень, она никогда не лежала, высунув язык, где-нибудь в тени дерева.

Живет ли вообще на свете рыжая собака? Над этим

никто из мужского населения нашей улицы и не задумывался. Зато все женщины околотка знали и ненавидели эту собаку, прозвав ее «рыжая воровка».

Ее били, прогоняя со двора, именно женщины.

Мне часто приходилось видеть, как выдворяют эту несчастную тварь на улицу, а она, тут же забыв про побои, по своей бесхарактерности, бредет как ни в чем не бывало, по-прежнему опустив голову.

Она хоть бы раз оглянулась на тех, кто ее вытурил... «Какой смысл оглядываться? Какая в этом необходимость? Чего я этим добьюсь?» — так, казалось, думала рыжая собака в подобных случаях. Скорее всего, она была уверена: бежать за нею вслед никто не станет, так как не было такого случая, чтобы, избив ее и изругав, за ней гнались бы по пятам.

«Пошла вон!» Уловив своими отвислыми ушами этот грубый окрик и сообразив, что окрик относится к ней, она, понурившись, уходила.

Иногда, очутившись в каком-нибудь дворе, где в это время хозяйка стирала белье, рыжая собака старалась рассмотреть: не тесто ли она месит. Если женщина колола дрова, собака также следила за ее движениями, как бы в ожидании, когда та крикнет ей: «Иди прочь!» Одно то, что собака могла стоять довольно долго, не двигаясь с места, говорило о ее безразличии.

Даже когда она не делала попыток что-нибудь украсть, одно ее присутствие вызывало подозрение и гнев.

Эта рыжая собака оказалась существом совершенно беспомощным, неспособным приносить хоть какую-нибудь пользу ни своему собачьему обществу, ни людям... Если бы она подражала своим собратьям и не избегала их сборищ, тогда можно было бы считать, что она общается с себе подобными, вносит в общее дело свою собачью лепту...

А о том, как мало от нее было пользы людям, стоит



ли упоминать? Говорят, что кто-то принес рыжую собаку к себе в дом, когда она была еще маленьким щенком. А потом, когда она подросла, ее посадили на цепь, пытаюсь привить ей злость, необходимую для дворового пса. Но, несмотря на все старания, рыжая не оправдала надежд...

Если хозяин ее кормил, она ела, а если забывал, то рыжая, не напоминая о себе, могла спокойно лежать у своей конуры с утра до вечера. Хоть бы она раз протявкала и порадовала бы хозяина своим лаем! Как он с ней ни возился, как ни мучился, ничего добиться не смог...

Хозяин отвязал ее и прогнал со двора.

В семье хозяина даже возник о ней спор. Одни утверждали, что рыжая тварь — немая, и в доказательство приводили веский, всем известный довод о ее молчании. Те, кто держались противоположного мнения, вспомнили, как эта собака, будучи щенком, заскучив по своей матери, жалобно заскулила. Вспомнили также, как она когда-то, очень давно, даже пыталась лаять. Все пришли все-таки к общему мнению, что голос у собаки есть...

Нет сомнения в том, что каждый, кто встречал это бездомное создание, из сострадания к нему мысленно желал, чтобы она как можно скорее сдохла; лучше небытие, чем такая жизнь! Итак, всем было ясно, что это существо совершенно бесполезное. Всякое растение приносит семена, желая продлить свой род, и, преодолевая преграды, тянется к солнечным лучам; каждый стебелек старается перерасти соседа. Как задумаюсь об этом — никак не могу простить этой собаке столь пренебрежительного отношения к ее собственной персоне!

Одна древняя старуха, жившая на окраине села, рядом с домом престарелых, рассказала, что встретила наяву настоящую ведьму, и рассмешила этим слушающих до слез... Будто бы однажды старушка, выйдя во двор, чтобы собрать сухие ветки, нарубленные в саду

стариком на топливо, увидела при свете луны, сквозь образовавшуюся от обвала зазубрину в ограде, ведьму в белом тюрбане... Посмотрела эта ведьма, посмотрела и не спеша спрятала голову за забор. Старухе тут стало не до хвороста, она решила, что только счастливый случай спас ее от лап чудовища, и, бледная, едва попадая зубом на зуб от страха, побежала домой. Старик, шепча про себя молитву, выходит за дверь. Выходит и видит, что через обвалившуюся часть забора, ничего не подозревая, смотрит к ним во двор всем хорошо известная рыжая собака.

«Слава богу, что старуха моя не в положении,— замечает тут, вздохнув с облегчением, старик.— А то бы она все равно скинула».

Довольный своей шуткой, он возвращается к жене. Когда старуха услышала, что перед ее глазами представала вовсе не ведьма, а рыжая бездомная тварь, весь запас накопившегося в ней гнева и возмущения она обрушила на голову этой рыжей.

Как раз в ту пору кое у кого начали пропадать яйца из курятников, а мешочки с творогом, вывешенные на забор, оказывались в траве разорванными. Весть об этих столь обычных мелких происшествиях молниеносно облетала улицу...

Старуха, видевшая «ведьму в белом тюрбане», навестила женщину, у которой пропал мешочек с творогом, и выразила уверенность, что это не иначе как рыжая собака стащила мешочек, съела творог и потом отправилась дальше для новых проделок. Но надо сказать, что совершенно другой пес лакомился творогом под кустиком конского щавеля, а рыжая собака бродила в это время вдоль арыка, подбирая свою долю заваливавшихся отбросов.

В тот момент, когда женщина, у которой пропал творог, разыскивала пропажу и набрела на кустик конского щавеля и обнаружила под ним клочки материи от

своего мешочка, рыжая собака, почуя запах съестного, подходила туда же. Недолго думая, женщина осыпала бедняжку проклятиями и с размаху бросила в нее камнем. Рыжая не сочла нужным даже взглянуть на обидчицу, которая ни за что ее ударила. Она, как всегда, поплелась дальше в поисках объедков.

После этого случая за рыжей собакой укрепились репутация злого вора: жителям это бездомное существо стало ненавистнее самой последней гадины.

Чем может кончиться дело, принявшее столь серьезный оборот, рыжей собаке было и невдомек. Она, как и раньше, бродила не спеша и не обращала внимания на окружающих... Не дано же собаке угадывать по глазам, которые на нее устремлялись, что замышляет их обладатель.

По нашей улице бегают собаки, ворующие не только яйца, но и самих кур. Эти псы не довольствуются тем, чем их кормит хозяин. Обжорам больше нравится все добытое втихомолку. Пожрав то, что ему удалось стащить, такой пес радуется про себя своей ловкости и шествует по улице с важной и серьезной миной...

Когда видишь, как эти собаки вынюхивают что-то и рыщут то там, то здесь с удивительной сноровкой, невольно приходят в голову безрадостные мысли. И наоборот, на душе становится легче, когда после долгих размышлений напрашивается вывод, что собаки-то и названы «собаками» за свои ухватки.

И так ни в чем не повинную рыжую бродяжку заклеили кличкой «воровка» из-за проделок других дворовых псов, которые действительно рыскали по чужим курятникам и сараям. Каждому было яснее ясно, что рыжая в кражах не виновата... Хозяйки же, не решаясь портить отношения с владельцами шkodливых псов, еще угощали последних костями и корками.

Однажды та самая женщина, у которой исчез творог, обнаружила, что какой-то пес побывал у нее в ку-

рятнике,— были разбиты и съедены два яйца. Хозяин заметил, что их собственная собака, облизываясь, выходила из курятника. Жалуясь мужу на новую пропажу, хозяйка высказала подозрение, что и тут повинна рыжая. Муж возразил ей, рассказав обо всем, что видел...

Вмешались в разговор случайно проходившие мимо люди и поддержали мнение хозяйки именно потому, что в воровстве она подозревала рыжую. Ведь дворовая собака была воспитана самим хозяином, и никто никогда не видел, чтобы она что-нибудь украла!

Итак, в воровстве обвиняют рыжую... Кто заинтересован в том, чтобы ославить дворовых собак? Гораздо лучше свалить вину на бродягу, чем обвинить домашних!

В конце концов хозяин дома зарядил ружье и, решив покончить с «рыжей воровкой», причинявшей столько неприятностей, отправился на ее поиски. А рыжая, ничего не подозревая, лениво бродила по свалке, разрывая лапой мусорные ямы. Человек с заряженным ружьем нашел окаянную именно там, где и предполагал найти, и тут же, присев, взял ее на мушку. Рыжая собака, повернув голову, уставилась на ружье, как бы недоумевая: «Почему этот человек в меня всматривается?» В этот момент раздался выстрел. Рыжая собака взвизгнула, упала на землю.

Тут мне стало ясно, что этот визг она берегла для своего последнего часа, как самое ценное и важное. Если бы в свое время, когда ей попадал камень в бок, рыжая подавала бы голос, то, возможно, в дальнейшем она бы и сама не замечала, что огрызается в трудную минуту. И так и жила бы — то взвизгивая, то огрызаясь. Тогда, может быть, и избежала бы она такой трагической смерти.

По правде говоря, эта несчастная собака погибла, не поняв того, что визг — тоже способ защиты. Когда раз-

дался выстрел, к месту происшествия сразу подбежал тот самый дворовый пес, который украдкой сожрал яйца и, облизываясь на глазах у хозяина, выскочил из курятника. Увидев рыжую, скалившую зубы в предсмертной агонии, он громко залаял.

Хозяйки весть о гибели рыжей собаки восприняли с удовлетворением, даже обрадовались ей. Но на следующий же день была снова обнаружена пропажа мешочка с творогом и нескольких яиц. Может быть, это проделки злобствующего духа рыжей? Не знаю...

## ПРИЗВАНИЕ



Глава нашей семьи, почтенный Бекимбай,— за глаза его называют попросту «старик»,— моему отцу приходится отцом, а мне, стало быть, дедом. Отец погиб в Отечественную и спит вечным сном в далеком краю. Старику нашему под восемьдесят, но он ровно держится в седле, когда отправляется в другое село навеситить родственников. Сам крепкий, и разум еще в полной силе.

Пока я рос, баловал он меня безмерно. А мне это порядком надоедало, и бывало, что хотелось уехать куда-нибудь подальше.

Хитрый старик, видно, разгадал мои намерения. Он прожужжал уши и всей родне, и мне, но женил-таки меня четыре года назад. У нас уже есть сын.

Дед жаждал правнуков,—еще бы, ведь я у него единственный внук, нельзя допустить, чтобы иссяк на мне наш род!

Не знаю, как дед распоряжался моим отцом, но мне он даже сейчас не позволяет самому выбрать специальность,—ты, мол, еще жить не умеешь! Из его воли я выходить не должен, сохрани боже! Это он добился в прошлом году, чтобы меня поставили бычков пасти. Битых два часа бубнил, просил директора вычеркнуть мое имя из списка тех, кого совхоз посылал в город на курсы механизаторов,—и выпросил! Теперь он снова надоедает начальству, хочет, чтобы сделали меня чабаном. Но техника мне куда больше по душе, чем отара. Сказал я однажды деду об этом. Он застучал своей палкой о пол.

— На что тебе техника твоя? Айран вкуснее мазута, барашек мягче железа, а джайлоо лучше поселка!

После такого неотразимого сопоставления я уже рта не раскрывал.

В конце концов, может, оно и так выйдет, что стану чабаном, заработаю Героя Социалистического Труда — и буду разъезжать на «Волге»...

\* \* \*

Как-то раз попало мне на глаза объявление на стене конторы. Прочел — обрадовался донельзя, побежал искать главного механика. Механик у нас хороший парень, добросердечный, с ним можно поговорить по душам.

— Бычков-то сдал? — спросил он.

— Сдал, откормлены на славу.

— Но тебя вроде бы в чабаны хотели. Ты комсомолец?

— Комсомолец. Только сам я давно хочу в механизаторы.

— Пиши заявление, будешь получать средний заработок. Кончишь курсы, тогда тебе и зарплата выйдет полная.

Десяти минут не прошло — отдал я ему заявление. И как ни в чем не бывало домой. Пока приказом не проведут, старику и говорить незачем. Кто его знает, старика все уважают, пристанет опять к начальству и все дело испортит.

На другой день пошел я в мехцех и позвал тракториста, старику нашему он племянник, на вечерний чай. Он парень скупой на слова, вот я по дороге объяснил ему, в чем дело, и прошу:

— Вы сыграйте, как артист. Хвалите побольше свою работу.

Он согласился.

Мы вошли в дом, когда наши только-только сели пить чай. Жена моя налила деду чаю с молоком, отломала кусок мягкой лепешки, накрошила, полила маслом, посыпала сахаром, подала. Она всегда так делает, свекра уважать надо.

— Как ваше здоровье, дядюшка?

— Я-то хорошо себя чувствую... Твой покойный отец всю жизнь ходил за скотом, умный был человек. А ты, я вижу, в мазуте купаешься, — отвечает старик, и, видно, не без умысла, чтобы и на меня произвести впечатление.

— Не в мазуте, сказали бы, а в деньгах купаешься, оно вернее бы вышло.

Дед на него глядит недоверчиво:

— Неужто больше чабана получаешь?



— Не знаю, как насчет чабана, а не меньше парторга, это уж точно,— говорит племянник, покосившись на меня.

Ох, не догадался бы старик, что мы с трактористом заодно!

— Я слышал, они еще больше будут получать,— вставляю свое слово.

Старик ложкой подцепил кусок размоченного хлеба, положил в рот, не спеша разжевал, проглотил.

— Вот дадут нам скоро отару, тогда и поглядим, кто больше заработает. Тебе ведь за те дни, когда ты не работаешь, денег не платят.

Вбил себе старый в голову одно, и наши слова для него пустое, так, все равно что муха жужжит. И насчет денег у племянника поворот не вышел.

Сынишка мой тем временем нашел круглую железку, крутит ее, будто это руль, а он в машине едет. Старик на него поглядел внимательно: раньше-то дети ездили верхом на хворостине, как на коне, а нынче из железки машину придумывают...

Минуты три все молчали.

Племянник допил чай и так удивленно:

— Пай-пай-й!..— Собирается, значит, что-то необыкновенное сообщить.— Ну и ученые теперь пошли!— говорит и качает головой.— Не обманешь и не сжулишь. Изобрели какие-то стекла. Приходит время окота, прогоняют отару мимо такого стекла, а на стекле отмечается, сколько приплоду принесет эта отара. И чабанам-мошеникам никак не удастся скрыть, сколько маток двойнями окотились.

Я как услышал про это «научное открытие», не выдержал—засмеялся. Может, старик оттого так стремится к чабанству, что мечтает из каждой двойни одного ягненка себе? Но он обрадовался:

— Молодец кто это придумал!

А племяннику что еще придумать?

— Дядюшка, мы теперь отары будем пасти с трактора. Возраст ваш преклонный, за отарой ходить нелегко, а с трактором не управитесь.

— Я-то быстро на тракторе научусь,—влезая я в разговор.—Пахать и сейчас могу, только механизм не знаю. Если овец придется трактором пасти, как нам быть?

— Болтовней не заниматься, вот как!—отрезал дед.—Отары на крутых склонах пасутся, а... тарак-тыр, как бишь его там, может только по ровному месту идти.

Взял свою палку, встал.

— Сказал бы еще, что сделали железного человека овец пасти!

И ушел.

Поглядел я на племянника: «Сели мы с тобой в лужу...»

— Надо, чтобы старику кто из начальства посоветовал, больше он никого не послушает,—тихонько сказал мне тракторист.

А назавтра начались занятия. Приняли меня. В свободном школьном классе развешали по стенам плакаты, на них разные механизмы изображены. Принесли части двигателя. И сели мы за парты. Двадцать пять человек — кто совсем молодой, кто постарше. В совхозе курсы открылись в первый раз.

Сначала выступил парторг, рассказал о решениях ноябрьского Пленума ЦК партии, о том, какие теперь требования к развитию сельского хозяйства, какие возможности у совхозных курсов. Пожелал нам успеха. После него главный механик говорил о тракторе, как он появился, какую роль играет в хозяйстве. И о переходе на комплексную механизацию. Потом начали изучать трактор.

После занятий я шел домой и все повторял про себя разные технические термины.

— Где это ты пропадал до вечера? — спрашивает дед.

— Да так, с ребятами, — отвечаю. И к жене: — Чай-то есть у тебя?

— Скажи пожалуйста, с ребятами! — передразнивает старик совсем как мальчишка.

Встал, замахнулся на меня своей палкой да в дверь. Но я успел заметить, будто усмехнулся он еле приметно.

— Что это со стариком? — спрашиваю у жены, которая мне чай подает.

— Не знаю, он сегодня на улице с парторгом долго разговаривал, с тех пор места себе не находит.

Сажу я, пью чай и думаю: «Ну пропало все!»

Нет, смотрю, возвращается старик, а лицо у него доброе. Поставил на место свою палку и говорит:

— Каждой семье, выходит, свой механизатор. Парторг объяснил, что не ты один, а самые опытные, известные чабаны тарак-тыр учат. Ты, значит, украдкой записался. Ну ладно, учись хорошенько, чабану это пригодится...

Улыбнулся я. Не думал, что так легко мое дело выгорит.

## ОДИН ДЕНЬ ДЕРЕВЕНСКОГО ПОЭТА



У деревенского поэта — инвалида Отечественной войны, а ныне заведующего красной юртой на ферме — был выходной день.

— Вообще-то говоря, если со стороны посмотреть, мы существа малоприятные, — сказал он жене, отодвигая от себя лист бумаги, на котором только что писал. — Такова наша судьба. То, что я пишу, куда ценнее, нежели я сам. Я могу

сидеть и разговаривать с гостями или с тобой, а мысли мои тем временем далеко...

Он не считал себя умным. Но понимал так, что главное в человеке — ум. Пришел к этому заключению в результате собственного житейского опыта.

Жена обычно соглашалась со всем, что он говорил. Сейчас она не обратила на его слова особого внимания и продолжала заниматься своим делом. Книги и бумаги ей надоели.

— Я считаю, чем больше в жизни испытываешь, тем ты умней, — продолжал поэт. — И пускай мои стихи не печатают, мне от этого не хуже. Я запечатлеваю на бумаге жизнь народа...

Жене, должно быть, захотелось подбодрить мужа.

— Но ведь в журналах хвалят, да и деньги присылают, — сказала она. — И люди к тебе приходят за советом.

Поэт улыбнулся и снова придвинул к себе бумажный лист. Обмакнул перо в чернильницу.

— Слава и деньги меня не привлекают. Похвалы не нужны. Гонорар — это та же зарплата. Были времена, когда никаких гонораров не платили, а поэты все равно высказывали мысли о собственной жизни, о жизни всего общества, учили народ добру. Сказать слово, которое западет людям в сердце, — вот радость превыше всех наград.

Жена поэта шила сынишке рубашку. Ей больно было слушать слова мужа. Нынешние поэты должны жить в больших городах, считала она. У каждого квартира из нескольких комнат, радиоприемник, телевизор, личный телефон. Люди они особые, и слова у них должны быть особые — сильные, умные, доходчивые... Куда уж там ее мужу... Иногда, читая его стихи, она думала, что надо бы ему жить по-другому, что относиться к нему надо иначе. Впрочем, она, простая, обыкновен-

ная женщина, быстро забывала эти свои мысли. Чаще ей хотелось, чтобы он бросил хоть ненадолго свои бумаги и занялся чем-нибудь еще —сходил куда по хозяйству, посидел с ребенком.

Вот и сейчас, заметив, что муж погрузился в размышления, захотела она разлучить его на час-другой с пером и бумагой.

— Возьми-ка мальчика,—попросила она,—мне тут немного осталось. На машине надо прострочить.

Десятимесячный мальчуган тем временем пополз к отцу, как будто понял слова матери. Пополз и остановился, с сомнением поглядывая на отца: «Это ты мой папа, а?»

— Я тут кое-что пишу. Ты лучше взяла бы его с собой. Пусть около тебя поиграет.

— Я скоро вернусь, побудь с ним,—повторила жена и вышла.

Поэт бросил в сердцах перо, встал и, опираясь одной рукой на палку, на другую руку подхватил сына. Прихрамывая, принялся ходить с ним по комнате. Уже если он жене, человеку, с которым вместе живет, не может внушить уважение к своему труду, чего же можно ждать и требовать от других людей?.. Чудачка, она не понимает даже того, что, оторвав его от стола и бумаги, она не властна над мыслями поэта.

Он долго ходил по комнате. Сын опустил голову ему на плечо и уснул. Поэт не заметил этого. Он думал о своих стихах. Он писал сейчас о доярке, которую выбрали депутатом Верховного Совета.

Мало-помалу, незаметно для него самого, овладела им ясная, почти детская радость. Он начисто забыл обо всем, что отравляло его существование, он переживал счастливые, ни с чем не сравнимые минуты. Осторожно сел и потянул к себе желтый чемодан, который служил ему в качестве письменного стола. Поэт двигался

легко и осторожно, словно боялся спугнуть прекрасную птицу, опустившуюся ему на голову. Перо быстро побежало по бумаге.

\* \* \*

Возвращения жены он не заметил. Она довольно долго стояла и, улыбаясь, смотрела, как он пишет, левой рукой прижимая к себе сладко спящего сына. Отцу было неудобно, но он не обращал на это внимания. Неудобно было и мальчику, который старался получше пристроить головенку, но все же не просыпался.

— Что же ты не додумался мальчика на постель положить?

Голос ее прозвучал в ту самую секунду, когда поэт поставил точку, окончив стихотворение. Он вздрогнул и поднял голову.

— Вот это да! Да ты, оказывается, спишь! На-ка, мама, уложи его сама,— улыбнулся он.— А я тоже тебе помогу, пойду наколю дров.

Он поискал свою палку. Лицо у него было светлое, словно у человека, который страдал напрасно и наконец оправдан. Жена даже растрогалась и отвернулась: «Пойди пойми этого человека!»

Поэт взял топор и, заняв позицию поустойчивее, принялся колоть дрова. Наколот, уложил так, чтобы удобнее было брать, и вернулся в дом.

— Я пройдусь немного. Как-никак у меня нынче выходной. Надо хоть поглядеть, что делается на свете.

Интонация у него была просительная. Жена не спорила с ним. Он тщательно обмотал шею шарфом, надел новенькое пальто, вышел на улицу, радостно улыбаясь.

Ему уже перевалило за сорок, и молодые люди обращались к нему со словом «ага» — дядя. Он больше всего на свете не любил пустой болтовни и болтунов.

Ему нравилось рассказывать молодым о хороших, настоящему хороших книгах.

Гулял он по улицам села примерно около часа. С ним здоровались приветливо — люди его уважали за серьезность и рассудительность. Он отвечал так же приветливо и расспрашивал встречающих о здоровье, о делах. С механизатором Джакыпом они проговорили довольно долго. Поэт даже прошелся немного вместе с ним.

— Что за песню вы написали для трактористов? — спросил Джакып, когда они медленно шли рядом. — Ребята выучили наизусть, смеются.

— А, так... — поэт махнул рукой. — Заходил к ним в мехцех во время ремонта тракторов. Двигатель, когда работает, похож на живое существо. Так, пустяки я написал, это не поэзия.

— Однако, я думаю, поэтом нелегко быть, — сказал Джакып, и в голосе его поэт уловил зависть.

Поэт усмехнулся. Потом остановился и, повернувшись к Джакыпу, ответил ему так:

— Очень нелегко. Но ты учти, что вплоть до нашего времени немногие поэты на земном шаре, а иначе говоря — в человеческом обществе, могли писать о людях так, как мы. То есть я имею в виду, что поэзия не была доступна всему народу. В наши дни поэт лишь тот, кто будит сознание человечества, зовет его на борьбу. Так считал Маяковский, а книгу его стихов я, например, держу под подушкой. — Он снова медленно зашагал вперед, как будто главное уже было сказано. — Жизнь — это океан. Поэт изучает океан. Обо всем, что он найдет ценного в этом океане, должен он уметь рассказать другим... А если говорить обо мне... Язык у меня не поворачивается назвать себя поэтом. Хотелось бы одного: чтобы нравились людям мои стихи. Хоть немного.

Джакып кивнул и начал вслух читать стихи о трак-



торе. В них упоминались и клапан, и поршень, и маховик... Поэт остановил механизатора:

— Да перестань ты с этой чепухой. Лучше расскажи, как поживает твоя сестра Дильдеке?

Красивая сестра Джакыпа, оказывается, собиралась разводиться с четвертым мужем. Ее самое это ничуть не тревожило,— с такой внешностью, как у нее, считала молодая женщина, о будущем нечего беспокоиться. Видимо, в глубине души у нее жило сознание, что красивой женщине незачем пекся о хозяйстве, заботиться о муже. Это удел дурнушек. А о ней пусть заботится муж. К сожалению, на деле все оборачивалось по-другому. Но горький опыт так и не научил Дильдеке, что достоинство женщины не только в красоте.

Пока Джакып рассказывал, поэт слушал его молча, но слышал не все. Джакып кончил и сердито выругался. Поэт сказал:

— Вот, значит, как...

Он уже забыл обо всем, в том числе и о Джакыпе, он думал о Дильдеке, о том, почему у нее такая нескладная, нелепая судьба. «Счастье, достоинство, талант, красота несовместимы с самовлюбленностью, несовместимы, как огонь и вода... Можно обмануть человека, нельзя обмануть жизнь. Человек простит, жизнь не простит никогда. Сколько красноречивых соловьев пело людям об этом. Сколько брошено добрых семян, которые должны были бы принести добрые плоды... И все же... немногие до конца понимают это...»

Занятый размышлениями, он, даже не попрощавшись с Джакыпом, прихрамывая, пошел к своему дому.

Жена, увидев, какой невеселый, даже мрачный вернулся он в дом, из которого всего час назад ушел оживленный и радостный, пожалела его. Но поэт не заметил, с какой безграничной любовью смотрит она на него. Пристроился поудобнее у желтого чемодана и раскрыл тетрадь. Молча начал писать, но, написав всего две

строки, остановился. Долго смотрел на бумагу, закурил, подумал еще — и строка за строкой пошло стихотворение.

Он окончил его уже в сумерках. Не перечитывая, закрыл тетрадь, — пусть отлежится, править он будет потом. Как всегда. Как обычно... И, следуя этому своему неизменному обычаю, занялся стихами о доярке, которые написаны были утром. Теперь он работал недолго и, наконец подняв голову, весело посмотрел на жену.

Он чувствовал себя счастливым или несчастным в зависимости от того, как получались стихи. Сам он привык к этой смене состояний, но жена все не могла ее постичь и принять.

— Ну, байбиче, ты даже чаю мне не даешь, а? — улыбнулся он.

Но чай давно уже ждал его.

— Сегодняшний день прошел не зря, — сказал довольный поэт.

Жена ответила с досадой:

— Пей ты чай, пока горячий! Как будто ты когда-нибудь время зря проводил, даже без своих тетрадок!

Поэт все так же весело и ласково смотрел на нее: «Ничего-то ты не понимаешь!..»



Вернувшись из армии в родной аил, Самый скоро влюбился в одну девушку. Звали ее Закеш. То есть полное имя у нее было Зайракан, но не только в семье, а весь почти аил называл ее ласково — Закеш. Милая и славная девушка, всем она нравилась. Даже старики и старухи, которые осуждали нынешнюю молодежь за то, что она забывает дорогие их сердцу обычаи старины, хва-

лили Закеш. Скромница, умница, со старшими почтительна... Но как бы ни была она почтительна со старшими, любимого выбрала сама, и никакие сваты и свахи не имели к этому отношения.

Бывало, только Закеш к зеркалу — причесаться, принарядиться, — мать тут как тут.

— Куда это ты, дочка, собираешься на ночь глядя?

— К подруге, мама, мы с девочками договорились собраться у Кукен, посидим, поболтаем, — отвечает Закеш и краснеет, потому что не привыкла, в общем, говорить неправду. Но сказать матери правду — что в условленном месте ждет ее Самый, — она совсем не может. Мать чувствует это и больше ни о чем не спрашивает.

А Самый тоже перестал вечерами бывать дома. Забежит после работы переодеться и тут же уходит.

— Где ты пропадал, сынок? — спрашивает мать, дождавшись поздно вечером его возвращения.

— Ходил с ребятами в кино.

— И хорошее было кино?

— Хорошее, — отвечал он и чувствовал себя неловко оттого, что понимал, о чем на самом деле хочет спросить мать: «Хорошая она девушка, сынок?»

Так прошло несколько месяцев.

И Самый женился на Закеш.

По нашему старому обычаю, невестка после свадьбы как бы поступает в распоряжение свекрови. На неопределенное, но, впрочем, достаточно длительное время: скажем, пока сама не станет матерью одного или даже двух детей. Считается, что молодая женщина учится у старой ведению хозяйства. Если мать, предположим, не научила дочь хорошо готовить, научит свекровь.

Родители Самыя отвели молодым переднюю часть дома, но это совсем не значило, что Закеш стала самостоятельной хозяйкой.

— Мы люди старого воспитания, нас уже не переделаешь,— говорила свекровь.— Я считаю, что невестка должна уважать свекровь. Думаю, что это хорошо, а не плохо.

Закеш любила своего Самыя, и поначалу приверженность свекрови к старине как-то не задевала ее. Молодая женщина охотно вставала на заре, ставила самовар, готовила завтрак, убирала. Муж уходил на работу, а она не замечала, как в хлопотах и заботах проходил день. Известно, ведь домашним делам конца нет. Вечером именно Закеш запирала калитку и гасила свет— все остальные уже были в постели. Она держалась скромно, вежливо, при старших не говорила громко, не вмешивалась в разговор... Одним словом, свекровь скоро поняла, какую работающую и добрую невестку привел сын к ним в дом, и начала даже чваниться ею, как неким собственным благоприобретенным достоянием. Старухе и в голову не приходило, что у Закеш могут быть собственные взгляды на жизнь и на человеческие отношения. Да и к чему это? Она сама когда-то была молодухой. «Ребенка бери в руки с детства, а невестку— сразу после свадьбы» — есть такая расхожая мудрость, которая была очень по душе свекрови Закеш.

Что касается самой Закеш, то она, конечно, знала и раньше, каковы старые обычаи. Знала — но не на собственном опыте. А собственный опыт принес совсем новое знание. Вначале она относилась ко всему этому почти как к игре, как к некоей не слишком тяжелой необходимости совершать обусловленные обычаем поступки, и только потом убедилась, что мало-помалу теряет собственное лицо, превращается в послушную исполнительницу чужой и чуждой воли. Выйти замуж — потерять свободу... Не думала она, что это может быть верно.

Однажды пришли навестить ее подруги девичьих

лет. С какой радостью бросилась она им навстречу, обнимала, целовала...

Несколько минут Закеш и девушки стояли во дворе и все разом, перебивая друг друга, тараторили без умолку. Еще бы — столько не видались, целую вечность! Закеш ждала подруг, хотела, чтобы они пришли, но даже не думала, как это сильно ее обрадует.

— Ой, да пойдете в дом! — спохватилась она, вспомнив о роли гостеприимной хозяйки.

Девчата только этого и ждали. Любопытно же посмотреть, как живет замужняя подруга. Не зря сложена поговорка: «Пшенице одна дорога — на мельницу».

Свекровь сидела в это время у себя в комнате и трепала шерсть. К появлению девчат она отнеслась явно неодобрительно. Прежде всего, конечно, потому, что опасалась, как бы подружки не повлияли в нежелательном для нее направлении на невестку, которую она уже прибрала к рукам. Учишь-учишь доброму, а тут прискакали эти стрекотухи...

— Ты чья дочка? — спросила старуха, смуглую девушку в плаще.

— Моя мама Джаныл-эне, — весело и смело отвечала та.

— В отличие от твоей уважаемой матери ты, я вижу, привыкла руки держать только в карманах... А ты? — обратилась свекровь Закеш к другой девушке, одетой в костюм с короткой юбкой.

Та, как видно, обиделась за подругу и сказала резко, даже заносчиво:

— Я дочь Сартбая.

— Ну, отец твой, пожалуй, поскромней тебя держится!

И, считая, должно быть, что поставила на место дерзких девчонок, старуха умолкла и занялась своим делом. Цели своей она добилась: подружки Закеш чувствовали себя теперь похуже, чем на экзамене в школе. Они

робко присели и принялись перешептываться. Громко говорить уже не решались. Закеш смутилась ужасно. Ей было стыдно, неловко, она кляла себя за то, что позвала девчат в дом.

Прошло несколько тягостных минут, и снова подала голос свекровь:

— Отчего ты не угостишь подруг чаем, Закеш?

Но девушки поспешили отказаться, прежде чем Закеш сказала свое слово. Подружка в костюме шепотом спросила, показывая на вышитую занавеску:

— Кто это вышивал?

Закеш даже не ответила ей словами, а только опустила голову так, что почти коснулась подбородком груди: я, мол. Вторая подружка недоверчиво покачала головой: «Неужели? Куда тебе!»

Зайди сейчас кто в дом, подумал бы, что тут души живой нет,—так было тихо. Спустя несколько минут девушки все тем же еле слышным шепотом объявили, что им пора. Закеш вышла с ними во двор. Едва они оказались на свободе, под ясным высоким небом, как вдруг все вместе рассмеялись. Девушка в плаще заявила:

— Я бы с такой свекровью и дня не прожила!

И эти слова насмешили их еще больше. Старуха хорошо слышала громкие голоса и смех во дворе. Закеш проводила подруг, вернулась в дом и занялась хозяйством. Она с привычной быстротой налиwała воду в самовар, щепала лучину, но на сердце было смутно. У нее есть все — наряды, еда, уютный дом, любимый человек... Но чего-то, однако, не хватает. Того, что раньше было у Закеш, с чем она рассталась, выйдя замуж. И это «что-то» — всего дороже, всего милее!

Когда Самый пришел на обед, Закеш искала какую-то вещь в буфете. Дверь в комнату стариков была полуоткрыта, оттуда доносилось до Самыя сухое покашливание матери.

Закеш обернулась на шаги мужа, и Самый, встретив ее печальные глаза, пожалел жену. Он впервые заметил, что Закеш расстроена. Подошел к ней, взял за руку и близко заглянул в лицо. Закеш не понравился, должно быть, его испытующий взгляд, она отвернулась. Так они стояли молча, и в прихожей была тишина.

Именно эта тишина и обеспокоила старуху. Она слышала шаги Закеш, слышала, как в дом вошел еще кто-то... и вдруг все стихло. В чем дело? Накинув плюшевое пальто, свекровь вышла в прихожую. Увидела сына и как ни в чем не бывало проследовала к выходной двери.

— Зачем ты ко мне подошел, я так и знала, что мать выйдет,— сказала Закеш.

Самый махнул рукой...

За чаем глаза их случайно встретились. Самый подмигнул и улыбнулся. Закеш тоже не сдержала улыбки, покраснела и опустила глаза.

— Ты бы лучше взяла чашку да чаю налила, чем пол разглядывать,— не без яду заметила свекровь.— Поддай-ка соль. Чай совершенно безвкусный...

Закеш молча подвинула солонку. Радость, только что вспыхнувшая, мгновенно погасла. Но старухе этого было мало. Она принялась перемывать косточки сегодняшним гостям Закеш.

— Нынешние девицы хуже парней. Выйдут замуж—одно горе мужу...

— Вы про каких девиц толкуете, мама?—спросил Самый.

— Подружки Закеш тут приходили, только во двор—затрещали как сороки!

Закеш чуть не плакала. Ей было горько, словно это к ней относились ядовитые слова свекрови. Да и какое старухе дело до чужих дочерей, спрашивается? Раз-



волновавшись, она не заметила, что у свекрови пустая чашка.

— Налей, пожалуйста!

Закеш поспешила выполнить просьбу — и опрокинула пиалу с молоком...

Самый наблюдал все это с огорчением. Зачем обижать добрую и разумную невестку, думалось ему. Чего старухе не хватает? Сама ведь твердит: «Умная невестка для свекра и свекрови истинный клад». С такой невесткой и обращаться следует по-умному. Самого сдержанного, рассудительного человека можно довести до раздражения и злости, если попусту к нему придираешься. Это даже малому ребенку понятно, а Самый не ребенок, слава богу. Старозаветное упрямство матери ему давно не нравилось. А тут надо бы и свое слово вставить.

— Мама,— сказал он,— а что вам за дело до поведения этих девушек? О чем тут говорить? Они ведь не маленькие, сами понимают...

И свекровь и невестка поняли, что речь не о чужих девушках, а о Закеш.

— Да я ничего такого и не сделала,— ответила старуха.— Девушка должна быть скромной, стыдливой, а не орать на всю улицу. Воспитанной должна быть, вот что я говорю. Разве я не права?

Закеш сидела молча,— ей не хотелось, чтобы из-за нее произошла ссора. Самый тоже не стал больше возражать. Поняла мать — и того хватит.

А мать поняла, но по-своему: что сын на стороне невестки. Так она и думала.

\* \* \*

Считалось неудобным, чтобы молодуха после свадьбы сразу шла на работу. Посидит дома с месяц, а там уж другое дело. Закеш пока что тоже не работала. Но

с каждым днем она все больше хотела этого. Ведь работать — значит уходить каждый или почти каждый день из дому, встречаться с другими молодыми женщинами, вместе трудиться, общаться с ними и чувствовать себя хотя бы на время свободной от мелочной домашней опеки. Она сказала свекрови о своем желании и получила ответ скорый и ясный:

— Людей бы постеснялась! Посиди дома три-четыре месяца. А то скажут, вот, мол, у них молодуха через неделю пошла свеклу полоть.

— Я по своим соскучилась, — тихо проговорила Закеш. — Хочется сходить к ним...

— Соскучилась — пригласи их сюда. Не полагается это, молодухе к отцу в гости ходить.

И Закеш умолкла.

Отец Самыя был тихий человек. Ни во что склочное не любил вмешиваться. Он слышал разговор своей жены с невесткой — и на этот раз решил нарушить свое обыкновение, впервые с того дня, как сын привел в дом невестку.

— Разве ты не знаешь нынешнюю молодежь? Пускай Закеш поступает, как считает нужным. Пускай идет куда хочет. Она человек разумный, сердечный...

Старуха со злостью толкнула мужа локтем:

— Ты молчи! Я ничего плохого не требую.

— Пойми, ведь свое же ты достоинство роняешь...

— Я тебе говорю, сиди, не лезь куда не надо! Не то бобылем останешься. Уйдут они — и я от тебя уйду, понял?

— Мы радоваться должны тому, как она относится к нам...

— Молчи!

— А, бог с тобой! — старик отвернулся.

Старики больше не обсуждали этот вопрос. А молодые обсуждали — и тоже не пришли к согласию. Самый

считал, что нужно все поставить на свои места, обо всем договориться откровенно. Они с женой люди взрослые и могут жить своим умом. В случае чего, и отделиться. Не хочет он, чтобы его жену, ни в чем не провинившуюся ни перед кем, поедом ели. Закеш возражала ему: не надо обострять отношения, как-нибудь все уладится мирно, пускай хоть не сразу. Но Самый не мог принять этого беспринципного, как он выражался, всепрощения. Мало ли в аиле молодух! И почитай что ни одна из них не живет под таким гнетом, как Закеш. Нет, это дело надо поломать, не то черт знает до чего дойти может!.. Он решил завтра же поговорить с матерью и, несмотря на просьбы Закеш, твердо стоял на своем.

На другой день, дождавшись, когда Закеш куда-то вышла по хозяйству, Самый выложил родителям все, что накопилось на душе.

— Вы, мама, чересчур преданы старым обычаям. Мне, например, перед товарищами за вас неудобно,— так завершил он свою речь.

— А что в наших обычаях дурного? Какие-то пустяки ты болтаешь, сынок,— ответила мать.

— Нет, так не пойдет! Закеш хочет работать. Хочет навещать своих родных. Почему же...

Мать не дала ему договорить.

— Никуда Закеш не пойдет! — отрезала она. — Как ей не стыдно жаловаться мужу! И как тебе не стыдно по наущению жены обижать мать!

В это время вошла Закеш. И сразу поняла, что дело неладно.

— Сказать вам по правде, мы готовы отделиться от вас! — не сдержался Самый, возмущенный словами матери.

— Отделяйся! Не умрем от этого! Уходи. Пяти минут не смей тут оставаться, если оскорбляешь родителей!

Трясаясь от негодования, старуха встала и направилась к нише, где сложены были одеяла и подушки.

— Забирай свое добро и убирайся! Все забирай! — Не помня себя, она швыряла на пол вещи.

Старик тоже встал и пошел от греха прочь, бросив:

— Взбесилась, богом убитая!

А Закеш все стояла у двери, не зная, как быть. Она ждала ссоры, но никак не могла предположить, до чего дойдет свекровь в своем исступлении. А ведь вина за эту ссору падет на нее, на Закеш. Осуждать будут ее, о ней скажут, что разлучила она сына с отцом, с матерью...

Не ожидал такого взрыва и Самый. Он всерьез не собирался уходить от родителей, хотел только дать понять матери, что ее отношение к невестке несправедливо. А мать... Ну что же, если она так, мы тоже не умрем, решил он в запальчивости. Нагнулся, подхватил с пола грудку набросанных матерью одеял и подушек и одним махом выкинул все это через дверь во двор.

— Уйду, не бойтесь!

— Уходи! Чтоб глаза мои больше тебя не видели! — все больше распалялась старуха и, повернувшись к Закеш, крикнула: — А все ты! Добилась своего, а теперь стоишь как ни в чем не бывало, любишься! Сгинь, бесовестная! Чего от тебя ждать, если сын родной...

Голос у нее прервался. Самый, бледный, задыхающийся, велел Закеш:

— Одевайся! Мы в этом доме больше не останемся.

Закеш, однако, не двинулась с места. Стояла и не поднимала глаз.

Самый вынес во двор наспех собранные книги, еще какие-то мелочи. Он метался по дому, потеряв власть над собой, ничего как следует не видя и не понимая.

В комнату заглянула соседка. Проходила мимо и, заметив во дворе груды кое-как набросанных вещей, забеспокоилась. Появление постороннего человека, ясное дело, не могло успокоить Самыя, наоборот — разозлило еще больше. Скажи на милость, пришла, как на концерт! Распустит потом по всему аилу сплетни... Он был несправедлив к женщине, с которой много лет были у их семьи вполне добрые отношения. А когда та на правах старой дружбы начала было успокаивать мать и сына, Самый схватил Закеш за руку:

— Идем, говорю тебе! Ну! Что ты стоишь?

Закеш не послушала его и высвободила руку.

— Самый, да опомнись ты! — нахмурилась соседка, но он только рявкнул:

— Не вмешивайтесь не в свое дело!

Снова принялся он тянуть жену за руку к двери, и снова Зекеш не подчинилась ему.

— Я никуда не пойду! — сказала она громко и решительно. — Я не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня!

Твердость и уверенность, прозвучавшие в ее словах, возможно, были неожиданны и для нее самой. На Самыя и его мать они подействовали, как ведро воды, вовремя опрокинутое на вспыхнувший от неосторожно брошенной спички сноп соломы. Старуха уже и сама жалела, что подняла шум, но, конечно, не призналась бы в этом. Она повторила, правда без особой пылкости:

— Уходите, пожалуйста, может, найдете где вам лучше. Никто вас не держит...

И Закеш совершила еще один неожиданный поступок: подошла к свекрови и обняла ее.

— Мама, милая, зачем вы так говорите? Никуда я не уйду, глупости все это!

Самый ушел из комнаты.

Ушла и соседка, вполне довольная исходом дела.

А старуха свекровь заплакала. В этих слезах, должно быть, и растаяла ее придирчивая строгость по отношению к невестке. Как сказал бы, оказался он свидетелем ссоры, корреспондент газеты, новое еще раз одержало победу над старым. И — что не менее важно — на смену отчужденности пришли близость и простота.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Утро в новом доме . . . . .            | 5   |
| Нигрол . . . . .                       | 31  |
| Когда приходит старость . . . . .      | 35  |
| Мирный очаг . . . . .                  | 46  |
| Разошлись... . . . .                   | 56  |
| На старой дороге . . . . .             | 66  |
| Возвращение . . . . .                  | 77  |
| Рыжая собака . . . . .                 | 94  |
| Призвание . . . . .                    | 102 |
| Один день деревенского поэта . . . . . | 108 |
| Свекровь . . . . .                     | 115 |

*Аман Саснаевич Саснаев*

## УТРО В НОВОМ ДОМЕ

М., «Советский писатель», 1977, 128 стр.

План выпуска 1977 г. № 247

Художник Ю. П. Мингазитинов

Редактор Н. П. Голосовская

Худож. редактор Д. С. Мухин

Техн. редактор Р. Я. Соколова

Корректор Ф. Л. Эльштейн

ИБ № 864

Сдано в набор 27/VII 1976 г. Подписано к печати 24/XI 1976 г. А14122. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1 Печ. л. 4. Усл. печ. л. 5,6. Уч.-изд. л. 5,1. Тираж 30 000 экз. Заказ 625. Цена 18 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Варовского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109.







18 коп.